This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 865,936

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

Chekhov, Anton Pavlovich

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Соч. Антона Чехова.

Типографія Высочайше утвержд. Т-ва И. Д. Сытина.

МОСКВА.— 1898.

Бабье царство.

I.

Наканунѣ.

Вотъ толстый денежный пакетъ. Это изъ лѣсной дачи, отъ приказчика. Онъ пишетъ, что посылаетъ полторы тысячи рублей, которыя онъ отсудилъ у кого-то, выигравъ дѣло во второй инстанціи. Анна Акимовна не любила и боялась такихъ словъ, какъ „отсудилъ“ и „выигралъ“ дѣло. Она знала, что безъ правосудія нельзя, но почему-то, когда директоръ завода Назарычъ или приказчикъ на дачѣ, которые часто судились, выигрывали въ пользу ея какое-нибудь дѣло, то ей всякій разъ становилось жутко и какъ-будто совѣстно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотѣлось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видѣть ихъ.

Она думала съ досадой: ея ровесницы,— а ей шелъ двадцать-шестой годъ,— теперь хлопочутъ по хозяйству, утомились и крѣпко уснутъ, а завтра утромъ проснутся въ праздничномъ настроеніи; многія изъ нихъ давно уже повыходили замужъ и имѣютъ дѣтей. Только она одна почему-то обязана, какъ старуха, сидѣть за этими письмами, дѣлать на нихъ

помѣтки, писать отвѣты, потомъ весь вечеръ до полуночи ничего не дѣлать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будутъ ее поздравлять и просить у ней, а послѣзавтра на заводѣ непремѣнно случится какой-нибудь скандалъ, — побьютъ кого, или кто-нибудь умретъ отъ водки, и ее почему-то будетъ мучить совѣсть; а послѣ праздниковъ Назарычъ уволитъ за прогулъ человѣкъ двадцать, и всѣ эти двадцать будутъ безъ шапокъ жаться около ея крыльца, и ей будетъ совѣстно выйти къ нимъ, и ихъ прогонятъ, какъ собакъ. И всѣ знакомые будутъ говорить за-глаза и писать ей въ анонимныхъ письмахъ, что она милліонерша, эксплуататорша, что она заѣдаетъ чужой вѣкъ и сосетъ у рабочихъ кровь.

Вотъ въ сторонѣ лежитъ пачка прочитанныхъ и уже отложенныхъ писемъ. Это отъ просителей. Тутъ голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже намѣтила на каждомъ письмѣ, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдутъ въ контору, и завтра тамъ будетъ происходить выдача пособій, или, какъ говорятъ служащіе, кормленіе звѣрей.

Раздадутъ по мелочамъ и 470 рублей — проценты съ капитала, завѣщаннаго покойнымъ Акимомъ Ивановичемъ на нищихъ и убогихъ. Будетъ безобразная толкотня. Отъ воротъ до дверей конторы потянется гусемъ длинный рядъ какихъ-то чужихъ людей съ звѣриными лицами, въ лохмотьяхъ, озябшихъ, голодныхъ и уже пьяныхъ, поминающихъ хриплыми голосами матушку-благодѣтельницу Анну

Акимовну и ея родителей; задніе будутъ напирать на переднихъ, а передніе — браниться нехорошими словами. Конторщикъ, которому прискучатъ шумъ, брань и причитыванія, выскочитъ и дастъ кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствію. А свои люди, рабочіе, не получившіе къ празднику ничего, кромѣ своего жалованья, и уже истратившіе все до копейки, будутъ стоять среди двора, смотрѣть и посмѣиваться — одни завистливо, другіе иронически.

„Купцы, а особенно купчихи больше любятъ нищихъ, чѣмъ своихъ рабочихъ, — подумала Анна Акимовна. — Это всегда такъ“.

Взглядъ ея упалъ на денежный пакетъ. Хорошо бы раздать завтра эти ненужныя, противныя деньги рабочимъ, но нельзя ничего давать рабочему даромъ, а то запроситъ въ другой разъ. Да и что значатъ эти полторы тысячи, если на заводѣ всѣхъ рабочихъ тысяча-восемьсотъ слишкомъ, не считая ихъ женъ и дѣтей? А то, пожалуй, выбрать одного изъ просителей, писавшихъ эти письма, какого-нибудь несчастнаго, давно уже потерявшаго надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бѣдняка ошеломятъ эти деньги, какъ громъ, и, быть-можетъ, первый разъ въ жизни онъ почувствуетъ себя счастливымъ. Эта мысль показалась Аннѣ Акимовнѣ оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула изъ пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернскій секретарь Чаликовъ давно уже безъ мѣста, боленъ и проживаетъ въ домѣ Гущина; жена въ чахоткѣ, пять малолѣтнихъ дочерей. Гущинскій четырехъэтажный домъ, въ

которомъ жилъ Чаликовъ, хорошо знала Анна Акимовна. Ахъ, нехорошій, гнилой, нездоровый домъ!

— Вотъ отдамъ этому Чаликову! — рѣшила она.— Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишнихъ разговоровъ. Да, — разсуждала она, пряча въ карманъ полторы тысячи, — посмотрю и, пожалуй, дѣвочекъ куда-нибудь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась въ сани, былъ седьмой часъ вечера. Окна во всѣхъ корпусахъ были ярко освѣщены, и оттого на громадномъ дворѣ казалось очень темно. У воротъ и далеко въ глубинѣ двора, около складовъ и рабочихъ бараковъ горѣли электрическіе фонари.

Этихъ темныхъ, угрюмыхъ корпусовъ, складовъ и бараковъ, гдѣ жили рабочіе, Анна Акимовна не любила и боялась. Въ главномъ корпусѣ послѣ смерти отца она была только одинъ разъ. Высокіе потолки съ желѣзными балками, множество громадныхъ, быстро вертящихся колесъ, приводныхъ ремней и рычаговъ, пронзительное шипѣніе, визгъ стали, дребезжанье вагонетокъ, жесткое дыханіе пара, блѣдныя или багровыя или черныя отъ угольной пыли лица, мокрыя отъ пота рубахи, блескъ стали, мѣди и огня, запахъ масла и угля, и вѣтеръ, то очень горячій, то холодный, произвели на нее впечатлѣніе ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячіе шипящіе цилиндры стараются сорваться со своихъ связей, чтобы уничтожить людей, а люди, съ озабоченными лицами, не слыша другъ друга, бѣгаютъ и суетятся около машинъ, стараясь

остановить ихъ страшное движеніе. Аннѣ Акимовнѣ что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнитъ, какъ въ кузнечномъ отдѣленіи вытащили изъ печи кусокъ раскаленнаго желѣза, и какъ одинъ старикъ съ ремешкомъ на головѣ, а другой — молодой, въ синей блузѣ, съ цѣпочкой на груди и съ сердитымъ лицомъ, должно-быть, изъ старшихъ, ударили молотками по куску желѣза, и какъ брызнули во всѣ стороны золотыя искры, и какъ, немного погодя, гремѣли передъ ней громаднымъ кускомъ листового желѣза; старикъ стоялъ на вытяжку и улыбался, а молодой вытиралъ рукавомъ мокрое лицо и объяснялъ ей что-то. И она еще помнитъ, какъ въ другомъ отдѣленіи старикъ съ однимъ глазомъ пилилъ кусокъ желѣза, и сыпались желѣзныя опилки, и какъ рыжій, въ темныхъ очкахъ и съ дырами на рубахѣ, работалъ у токарнаго станка; дѣлая что-то изъ куска стали, станокъ ревѣлъ и визжалъ и свистѣлъ, а Анну Акимовну тошнило отъ этого шума, и казалось, что у нея сверлятъ въ ушахъ. Она глядѣла, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысячъ отъ дѣла, котораго не понимаешь и не можешь любить, — какъ это странно!

А въ рабочихъ баракахъ она не была ни разу. Тамъ, говорятъ, сырость, клопы, развратъ, безначаліе. Удивительное дѣло: на благоустройство бараковъ уходятъ ежегодно тысячи рублей, а положеніе рабочихъ, если вѣрить анонимнымъ письмамъ, съ каждымъ годомъ становится все хуже и хуже.

„При отцѣ было больше порядка, — думала Анна Акимовна, выѣзжая со двора, — потому что онъ самъ былъ рабочій и зналъ, что нужно. Я же ничего не знаю и дѣлаю однѣ глупости“.

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поѣхала, и мысль о счастливцѣ, на котораго сваливаются съ неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ѣхать къ какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падаетъ милліонное дѣло, и рабочіе въ баракахъ живутъ хуже арестантовъ, — это значитъ дѣлать глупости и обманывать свою совѣсть. По шоссе и около него черезъ поле, направляясь къ городскимъ огнямъ, шли толпами рабочіе изъ сосѣднихъ фабрикъ — ситцевой и бумажной. Въ морозномъ воздухѣ раздавались смѣхъ и веселый говоръ. Анна Акимовна поглядѣла на женщинъ и малолѣтковъ, и ей вдругъ захотѣлось простоты, грубости, тѣсноты. Она ясно представила себѣ то далекое время, когда ее звали Анюткой, и когда она, маленькая, лежала подъ однимъ одѣяломъ съ матерью, а рядомъ, въ другой комнатѣ, стирала бѣлье жилица-прачка, и изъ сосѣднихъ квартиръ сквозь тонкія стѣны слышались смѣхъ, брань, дѣтскій плачъ, гармоника, жужжанье токарныхъ станковъ и швейныхъ машинъ, а отецъ, Акимъ Ивановичъ, знавшій почти всѣ ремесла, не обращая никакого вниманія на тѣсноту и шумъ, паялъ что-нибудь около печки или чертилъ или строгалъ. И ей захотѣлось стирать, гладить, бѣгать въ лавку и кабакъ, какъ это она дѣлала каждый день, когда жила съ матерью. Ей бы рабочей быть, а не хо-

зяйкой! Ея большой домъ съ люстрами и картинами, лакей Мишенька во фракѣ и съ бархатными усиками, благолѣпная Варварушка и льстивая Агаѳьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходятъ къ ней просить денегъ, и передъ которыми она почему-то всякій разъ чувствуетъ себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящіе на ея счетъ, льстящіе ей и презирающіе ее втайнѣ за низкое происхожденіе, — какъ все это уже прискучило и чуждо ей!

Вотъ желѣзно-дорожный переѣздъ и застава; пошли дома вперемежку съ огородами; вотъ, наконецъ, и широкая улица, гдѣ стоитъ знаменитый домъ Гущина. На улицѣ, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника было большое движеніе. Въ трактирахъ и портерныхъ шумѣли. Если бы проѣзжалъ теперь по улицѣ кто-нибудь не здѣшній, живущій въ центрѣ города, то онъ замѣтилъ бы только грязныхъ, пьяныхъ и ругателей, но Анна Акимовна, жившая съ дѣтства въ этихъ краяхъ, узнавала теперь въ толпѣ то своего покойнаго отца, то мать, то дядю. Отецъ былъ мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазёръ, безпечный и легкомысленный; у него не было пристрастія ни къ деньгамъ, ни къ почету, ни къ власти; онъ говорилъ, что рабочему человѣку некогда разбирать праздники и ходить въ церковь; и если бъ не жена, то онъ, пожалуй, никогда бы не говѣлъ и въ постъ ѣлъ бы скоромное. А дядя, Иванъ Ивановичъ, наоборотъ, былъ кремень; во всемъ, что относилось къ религіи, политикѣ и нравственности, онъ былъ крутъ и неумолимъ, и наблюдалъ не только за собой, но и за всѣми служащими и знакомыми.

Не дай Богъ, бывало, войти къ нему въ комнату и не перекреститься. Роскошныя хоромы, въ которыхъ живетъ теперь Анна Акимовна, онъ держалъ запертыми и отпиралъ ихъ только въ большіе праздники для важныхъ гостей, а самъ жилъ въ конторѣ, въ одной маленькой комнаткѣ, уставленной образами. Онъ тяготѣлъ къ старой вѣрѣ и постоянно принималъ у себя старообрядческихъ архіереевъ и поповъ, хотя былъ крещенъ и вѣнчанъ, и жену свою похоронилъ по обряду православной Церкви. Брата Акима, своего единственнаго наслѣдника, онъ не любилъ за легкомысліе, которое называлъ простотой и глупостью, и за равнодушіе къ вѣрѣ. Онъ держалъ его въ черномъ тѣлѣ, на положеніи рабочаго, платилъ ему по 16 руб. въ мѣсяцъ. Акимъ говорилъ своему брату *вы* и въ прощеные дни со всѣмъ своимъ семействомъ кланялся ему въ ноги. Но года за три до своей смерти Иванъ Ивановичъ приблизилъ его къ себѣ, простилъ и приказалъ нанять для Анютки гувернантку.

Ворота подъ домомъ Гущина темныя, глубокія, вонючія; слышно, какъ около стѣнъ покашливаютъ мужчины. Оставивъ сани на улицѣ, Анна Акимовна вошла во дворъ и спросила тутъ, какъ пройти въ 46-й номеръ къ чиновнику Чаликову. Ее направили къ крайней двери направо, въ третій этажъ. И во дворѣ и около крайней двери, даже на лѣстницѣ былъ тотъ же противный запахъ, что и подъ воротами. Въ дѣтствѣ, когда отецъ Анны Акимовны былъ простымъ рабочимъ, она живала въ такихъ домахъ и потомъ, когда обстоятельства измѣнились, часто посѣщала ихъ въ качествѣ благотворительницы;

узкая каменная лѣстница съ высокими ступенями, грязная, прерываемая въ каждомъ этажѣ площадкою; засаленный фонарь въ пролетѣ; смрадъ, на площадкахъ около дверей корыта, горшки, лохмотья, — все это было знакомо ей уже давнымъ-давно... Одна дверь была открыта, и въ нее видно было, какъ на столахъ сидѣли портные-евреи въ шапкахъ и шили. На лѣстницѣ Аннѣ Акимовнѣ встрѣчались люди, но ей и въ голову не приходило, что ее могутъ обидѣть. Рабочихъ и мужиковъ, трезвыхъ и пьяныхъ, она такъ же мало боялась, какъ своихъ интеллигентныхъ знакомыхъ.

Въ квартирѣ № 46 сѣней не было, и начиналась она съ кухни. Обыкновенно въ квартирахъ фабричныхъ и мастеровыхъ пахнетъ лакомъ, смолой, кожей, дымомъ, смотря по тому, чѣмъ занимается хозяинъ; квартиры же обѣднѣвшихъ дворянъ и чиновниковъ узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этотъ противный запахъ обдалъ Анну Акимовну и теперь, едва она переступила порогъ. Въ углу за столомъ сидѣлъ спиной къ двери какой-то мужчина въ черномъ сюртукѣ, должно-быть, самъ Чаликовъ, и съ нимъ пять дѣвочекъ. Старшей, широколицей и худенькой, съ гребенкой въ волосахъ, было на видъ лѣтъ пятнадцать, а младшей, пухленькой, съ волосами какъ у ежа, — не больше трехъ. Всѣ шестеро ѣли. Около печи, съ ухватомъ въ рукѣ, стояла маленькая, очень худая, съ желтымъ лицомъ женщина въ юбкѣ и бѣлой кофточкѣ, беременная.

— Не ожидалъ я отъ тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, — говорилъ мужчина съ укоризной. —

Ай, ай, какъ стыдно! Значитъ, ты хочешь, чтобы папочка тебя высѣкъ, да?

Увидѣвъ на порогѣ незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и оставила ухватъ.

— Василій Никитичъ! — окликнула она не сразу, глухимъ голосомъ, какъ будто не вѣря своимъ глазамъ.

Мужчина оглянулся и вскочилъ. Это былъ костлявый узкоплечій человѣкъ, со впалыми висками и съ плоскою грудью. Глаза у него были маленькіе, глубокіе, съ темными кругами, носъ длинный, птичій и немножко покривившійся вправо, ротъ широкій. Борода у него двоилась, усы онъ брилъ и отъ этого походилъ больше на выѣздного лакея, чѣмъ на чиновника.

— Здѣсь живетъ господинъ Чаликовъ? — спросила Анна Акимовна.

— Точно такъ-съ, — строго отвѣтилъ Чаликовъ, но тотчасъ же узналъ Анну Акимовну и вскрикнулъ: — госпожа Глаголева! Анна Акимовна! — и вдругъ задохнулся и всплеснулъ руками, какъ бы отъ страшнаго испуга. — Благодѣтельница!

Со стономъ онъ подбѣжалъ къ ней и, мыча, какъ параличный, — на бородѣ у него была капуста, и пахло отъ него водкой, — припалъ лбомъ къ муфтѣ и какъ бы замеръ.

— Ручку! Ручку святую! — проговорилъ онъ задыхаясь. — Сонъ! прекрасный сонъ! Дѣти, разбудите меня!

Онъ повернулъ къ столу и сказалъ рыдающимъ голосомъ, потрясая кулаками:

— Провидѣніе услышало насъ! Пришла наша из-

бавительница, нашъ ангелъ! Мы спасены! Дѣти, на колѣни! На колѣни!

Госпожа Чаликова и дѣвочки, кромѣ самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

— Вы писали, что ваша жена очень больна, — сказала Анна Акимовна, и ей стало совѣстно и досадно.

„Полторы тысячи я ему не дамъ“, подумала она.

— Вотъ она, моя жена! — сказалъ Чаликовъ тонкимъ женскимъ голоскомъ, какъ будто слезы ударили ему въ голову. — Вотъ она, несчастная! Одною ногой въ могилѣ! Но мы, сударыня, не ропщемъ. Лучше умереть, чѣмъ такъ жить. Умирай, несчастная!

„Что онъ ломается? — подумала Анна Акимовна съ досадой. — Сейчасъ видно, что привыкъ имѣть дѣло съ купцами“.

— Говорите со мной, пожалуйста, по-человѣчески, — сказала она. — Я комедій не люблю.

— Да, сударыня, пятеро осиротѣвшихъ дѣтей вокругъ гроба матери, при погребальныхъ свѣчахъ — это комедія! Эхъ! — сказалъ Чаликовъ съ горечью и отвернулся.

— Замолчи! — шепнула жена и дернула его за рукавъ. — У насъ, сударыня, не прибрано, — сказала она, обращаясь къ Анне Акимовнѣ, — ужъ вы извините... Дѣло семейное, сами изволите знать. Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ.

„Не дамъ я имъ полторы тысячи“, опять подумала Анна Акимовна.

И чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ этихъ людей и отъ кислаго запаха, она уже достала портмоне и рѣшила оставить рублей 25 — не больше; но ей

вдругъ стало совѣстно, что она ѣхала такъ далеко и безпокоила людей изъ-за пустяковъ.

— Если вы дадите мнѣ бумаги и чернилъ, то я сейчасъ напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы онъ побывалъ у васъ, — сказала она, краснѣя. — Докторъ очень хорошій. А на лѣкарства я вамъ оставлю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

— Здѣсь не чисто! Куда ты? — прошипѣлъ Чаликовъ, глядя на нее со злобой. — Проводи къ жильцу! Пожалуйте, сударыня, къ жильцу, осмѣлюсь просить васъ, — обратился онъ къ Аннѣ Акимовнѣ.— Тамъ чисто.

— Осипъ Ильичъ не велѣлъ ходить въ его комнату! — сказала строго одна изъ дѣвочекъ.

Но Анну Акимовну уже повели изъ кухни черезъ узкую проходную комнату, между двухъ кроватей; видно было по расположенію постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой — трое поперекъ. Въ слѣдующей затѣмъ комнатѣ жильца, въ самомъ дѣлѣ, было чисто. Опрятная постель съ краснымъ шерстянымъ одѣяломъ, подушка въ бѣлой наволочкѣ, даже башмачокъ для часовъ, столъ, покрытый пеньковою скатертью, а на немъ чернильница молочнаго цвѣта, перья, бумага, фотографіи въ рамочкахъ, все какъ слѣдуетъ, и другой столъ, черный, на которомъ въ порядкѣ лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стѣнахъ были развѣшены молотки, клещи, буравчики, стамезки, плоскогубцы и т. п., и висѣло трое стѣнныхъ часовъ, которые тикали; одни часы громадные, съ толстыми гирями, какіе бываютъ въ трактирахъ.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидѣла передъ собой на столѣ портретъ отца и свой портретъ. Это ее удивило.

— Кто здѣсь у васъ живетъ?—спросила она.

— Жилецъ, сударыня, Пименовъ. Онъ у васъ на заводѣ служитъ.

— Да? А я думала, часовой мастеръ.

— Часами онъ занимается приватнымъ образомъ, между дѣломъ. Любитель-съ.

Послѣ нѣкотораго молчанія, когда слышно было только, какъ тикали часы и скрипѣло перо по бумагѣ, Чаликовъ вздохнулъ и сказалъ насмѣшливо, съ негодованіемъ:

— Правда говорится: изъ благородства да изъ чиновъ шубы себѣ не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титулъ, а кушать нечего. По-моему, если человѣкъ низкаго званія помогаетъ бѣднымъ, то онъ гораздо благороднѣе какого-нибудь Чаликова, который погрязъ въ нищетѣ и порокѣ.

Чтобы польстить Аннѣ Акимовнѣ, онъ сказалъ еще нѣсколько фразъ, обидныхъ для своего благородства, и было ясно, что онъ унижалъ себя потому, что считалъ себя выше ея. Она, между тѣмъ, кончила письмо и запечатала. Письмо будетъ брошено, и деньги пойдутъ не на лѣченіе, — это она знала, но, все-таки, положила на столъ 25 рублей и, подумавъ, прибавила еще двѣ красныхъ бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нея передъ глазами и сжала деньги въ кулачокъ.

— Это вы изволили дать на лѣкарства, — сказалъ Чаликовъ дрогнувшимъ голосомъ: — но протяните

руку помощи также мнѣ... и дѣтямъ, — добавилъ онъ и всхлипнулъ, — дѣтямъ несчастнымъ! Не за себя боюсь, — за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмоне, въ которомъ испортился замочекъ, Анна Акимовна сконфузилась, покраснѣла. Ей было стыдно, что люди стоятъ передъ ней, смотрятъ на ея руки и ждутъ и, вѣроятно, въ глубинѣ души смѣются надъ ней. Въ это время кто-то вошелъ въ кухню и застучалъ ногами, стряхивая снѣгъ.

— Жилецъ пришелъ, — сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь изъ заводскихъ засталъ ее въ этомъ смѣшномъ положеніи. Жилецъ, какъ нарочно, вошелъ въ свою комнату въ ту самую минуту, когда она, сломавши, наконецъ, замочекъ, подавала Чаликову нѣсколько бумажекъ, а Чаликовъ мычалъ, какъ параличный, и искалъ губами, куда бы поцѣловать ее. Въ жильцѣ она узнала рабочаго, который когда-то въ кузнечномъ отдѣленіи гремѣлъ передъ ней желѣзнымъ листомъ и давалъ объясненія. Очевидно, онъ пришелъ теперь прямо съ завода: лицо у него было смуглое отъ копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсѣмъ черныя, и блуза безъ пояса лоснилась отъ масляной грязи. Это былъ мужчина лѣтъ тридцати, средняго роста, черноволосый, плечистый и, повидимому, очень сильный. Анна Акимовна съ перваго же взгляда опредѣлила въ немъ старшаго, получающаго не меньше 35 руб. въ мѣсяцъ, строгаго, крикливаго, бьющаго рабочихъ по зубамъ, и это видно было по его манерѣ стоять, по той позѣ,

какую онъ невольно вдругъ принялъ, увидѣвъ у себя въ комнатѣ даму, а, главное, потому, что у него были брюки на выпускъ, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отецъ, Акимъ Ивановичъ, былъ братомъ хозяина, а все-таки боялся старшихъ, въ родѣ этого жильца, и заискивалъ у нихъ.

— Извините, мы безъ васъ распорядились тутъ, — сказала Анна Акимовна.

Рабочій смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, конфузливо улыбался и молчалъ.

— Вы, сударыня, погромче... — тихо сказалъ Чаликовъ. — Господинъ Пименовъ, когда приходятъ по вечерамъ съ завода, бываютъ туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тутъ больше нечего дѣлать, кивнула головой и быстро вышла. Пименовъ пошелъ проводить ее.

— Вы давно у насъ служите? — спросила она громко, не оборачиваясь къ нему.

— Съ девяти лѣтъ. Я еще при вашемъ дяденькѣ опредѣлился.

— Какъ, однако, давно! Вотъ дядя и отецъ знали всѣхъ служащихъ, а я почти никого не знаю. Я васъ видѣла и раньше, но не знала, что ваша фамилія Пименовъ.

Анна Акимовна чувствовала желаніе оправдаться передъ нимъ, сдѣлать видъ, что давала она сейчасъ деньги не серьезно, а шутя.

— Охъ, эта бѣдность! — вздохнула она. — Творимъ мы добрыя дѣла и въ праздники, и въ будни, а все толку нѣтъ. Мнѣ кажется, что помогать такимъ, какъ этотъ Чаликовъ, безполезно.

— Конечно, безполезно, — согласился Пименовъ. — Сколько ни дайте, все пропьетъ. А теперь всю ночь мужъ и жена будутъ отнимать другъ у дружки и драться, — добавилъ онъ и засмѣялся.

— Да, надо сознаться, наша филантропія безполезна, скучна и смѣшна. Но, вѣдь, тоже, согласитесь, нельзя сидѣть сложа руки, надо дѣлать что-нибудь. Напримѣръ, что дѣлать съ Чаликовыми?

Она обернулась къ Пименову и остановилась, ожидая отъ него отвѣта; онъ тоже остановился и медленно и молча пожалъ плечами. Очевидно, онъ зналъ, что дѣлать съ Чаликовыми, но это было такъ грубо и нечеловѣчно, что онъ не рѣшался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что черезъ мгновеніе онъ уже не помнилъ о нихъ; глядя въ глаза Аннѣ Акимовнѣ, онъ улыбался отъ удовольствія, и выраженіе у него было такое, какъ будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя къ нему близко, по его лицу, особенно по глазамъ, увидала, какъ онъ утомленъ и какъ ему хочется спать.

„Вотъ ему бы дать тѣ полторы тысячи!“ подумала она, но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

— У васъ небось все тѣло болитъ отъ работы, а вы меня провожаете, — сказала она, спускаясь по лѣстницѣ. — Идите домой.

Но онъ не разслышалъ. Когда выходили на улицу, онъ забѣжалъ впередъ, отстегнулъ у саней полость и, подсаживая Анну Акимовну, сказалъ:

— Благополучно праздникъ встрѣтить!

II.

Утро.

— Уже давно отзвонили! Наказаніе Господне, и къ шапочному разбору не поспѣете! Вставайте!

— Двѣ лошади бѣгутъ, бѣгутъ... — сказала Анна Акимовна и проснулась; передъ ней со свѣчей въ рукахъ стояла ея горничная, рыжая Маша. — Что? Что тебѣ?

— Обѣдня уже отошла! — говорила Маша съ отчаяньемъ. — Третій разъ бужу! Но мнѣ хоть до вечера спите, но вѣдь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворѣ еще было совсѣмъ темно, и только нижній край оконной рамы бѣлѣлъ отъ снѣга. Слышался густой низкій звонъ, но это звонили не въ приходѣ, а гдѣ-то дальше. Часы на столикѣ показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Черезъ три минутки... — сказала Анна Акимовна умоляющимъ голосомъ и укрылась съ головой.

Она представила себѣ снѣгъ у крыльца, сани, темное небо, толпу въ церкви и запахъ можжевельника, и ей стало жутко, но она, все-таки, рѣшила что тотчасъ же встанетъ и поѣдетъ къ ранней обѣднѣ. И пока она грѣлась въ постели и боролась со сномъ, который, какъ нарочно, бываетъ удивительно сладокъ, когда не велятъ спать, и пока ей мерещился то громадный садъ на горѣ, то Гущин-

скій домъ, ее все время безпокоила мысль, что ей надо сію минуту вставать и ѣхать въ церковь.

Но когда она встала, было уже совсѣмъ свѣтло, и часы показывали половину десятаго. За ночь навалило много новаго снѣгу, деревья одѣлись въ бѣлое, и воздухъ былъ необыкновенно свѣтелъ, прозраченъ и нѣженъ, такъ что когда Анна Акимовна поглядѣла въ окно, то ей, прежде всего, захотѣлось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остатокъ давняго дѣтскаго чувства, — радость, что сегодня Рождество, вдругъ шевельнулась въ ея груди, и послѣ этого стало легко, свободно и чисто на душѣ, какъ будто и душа умылась или окунулась въ бѣлый снѣгъ. Вошла Маша, разряженная и крѣпко затянутая въ корсетъ, и поздравила съ праздникомъ; потомъ она долго причесывала и помогала надѣвать платье. Запахъ и ощущеніе новаго, пышнаго, прекраснаго платья, его легкій шумъ и запахъ свѣжихъ духовъ возбуждали Анну Акимовну.

— Вотъ и святки, — сказала она весело Машѣ. — Теперь будемъ гадать.

— Мнѣ лѣтошній годъ вышло — за старикомъ быть. Три раза такъ выходило.

— Ну, Богъ милостивъ.

— А что жъ, Анна Акимовна? Я такъ думаю, чѣмъ ни то, ни се, ни два, ни полтора, такъ ужъ лучше за старика, — сказала печально Маша и вздохнула. - Мнѣ ужъ двадцать-первый годъ пошелъ, не шутка.

Всѣмъ въ домѣ было извѣстно, что рыжая Маша была влюблена въ лакея Мишеньку, и вотъ уже три

года, какъ продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

— Ну, полно пустяки говорить,— утѣшила Анна Акимовна.— Мнѣ скоро тридцать лѣтъ, а я все собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одѣвалась, Мишенька, въ новомъ фракѣ и въ лакированныхъ ботинкахъ, ходилъ по залѣ и гостиной и ждалъ, когда она выйдетъ, чтобы поздравить ее съ праздникомъ. Онъ ходилъ всегда какъ-то особенно, мягко и нѣжно ступая; глядя при этомъ на его ноги, руки и наклонъ головы, можно было подумать, что онъ это не просто ходитъ, а учится танцовать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкіе бархатные усики и красивую, нѣсколько даже шулерскую наружность, онъ былъ степененъ, разсудителенъ и набоженъ, какъ старикъ. Молился онъ Богу всегда съ земными поклонами и любилъ кадить у себя въ комнатѣ ладаномъ. Богатыхъ и знатныхъ онъ уважалъ и благоговѣлъ предъ ними, бѣдняковъ же и всякаго рода просителей презиралъ всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Подъ крахмальною сорочкой у него была еще фланелевая, которую онъ носилъ зимою и лѣтомъ, крѣпко дорожа своимъ здоровьемъ; уши были заткнуты ватой.

Когда черезъ залу проходила Анна Акимовна съ Машей, онъ склонилъ голову внизъ и нѣсколько на бокъ и сказалъ своимъ пріятнымъ, медовымъ голосомъ:

— Честь имѣю поздравить васъ, Анна Акимовна, съ высокоторжественнымъ праздникомъ Рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бѣдная Маша обомлѣла. Его праздничный видъ, поза, голосъ и то, что̀ онъ сказалъ, поразили ее своею красотой и изяществомъ; продолжая итти за своею барышней, она уже ни о чемъ не думала, ничего не видѣла и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхній этажъ въ домѣ назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, гдѣ хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено названіе торговой, стариковской или просто бабьей половины. Въ первой принимали обыкновенно благородныхъ и образованныхъ, а во второй — кого попроще и личныхъ знакомыхъ тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свѣжая, чувствуя на себѣ роскошное платье, отъ котораго, казалось ей, во всѣ стороны шло сіяніе, Анна Акимовна спустилась въ нижній этажъ. Тутъ ее встрѣтили упреками, что она, образованная, Бога забыла, проспала обѣдню и не приходила внизъ разговляться, и всѣ всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она вѣрила этому, смѣялась, цѣловалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человѣку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь, — кіоты, образа, лампады, портреты духовныхъ особъ, пахнетъ монахами; въ кухнѣ стучатъ ножами, и уже понесся по всѣмъ комнатамъ запахъ чего-то скоромнаго, очень вкуснаго. Желтые крашеные полы сіяютъ, и отъ дверей къ переднимъ угламъ идутъ дорожками узкіе ковры съ ярко-синими полосами, а солнце такъ и рѣжетъ въ окна.

Въ столовой сидятъ какія-то чужія старушки; въ

комнатѣ Варварушки тоже старушки и съ ними глухонѣмая дѣвица, которая все стыдится чего-то и говоритъ: „блы, блы...“ Двѣ тощенькія дѣвочки, взятыя изъ пріюта на праздники, подошли къ Аннѣ Акимовнѣ, чтобы поцѣловать ручку, и остановились передъ ней, пораженныя роскошью ея платья; она замѣтила, что одна изъ дѣвочекъ косенькая, и среди легкаго праздничнаго настроенія у нея вдругъ болѣзненно сжалось сердце отъ мысли, что этою дѣвочкой будутъ пренебрегать женихи, и она никогда не выйдетъ замужъ. Въ комнатѣ у кухарки Агаѳьюшки за самоваромъ сидѣло человѣкъ пять громадныхъ мужиковъ въ новыхъ рубахахъ, но это были не рабочіе съ завода, а кухонная родня. Увидѣвъ Анну Акимовну, мужики вскочили съ мѣстъ и изъ приличія перестали жевать, хотя у всѣхъ были полные рты; въ комнату вошелъ изъ кухни поваръ Степанъ, въ бѣломъ колпакѣ и съ ножомъ въ рукѣ, и поздравилъ; пришли дворники въ валенкахъ и тоже поздравили. Выглянулъ водовозъ съ сосульками на бородѣ, но не посмѣлъ войти.

Анна Акимовна ходила по комнатамъ, а за нею весь штатъ: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марѳа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всѣхъ въ домѣ, одѣтая во все черное, пахнущая кипарисомъ и кофеемъ, въ каждой комнатѣ крестилась на образа и кланялась въ поясъ, и при взглядѣ на нее почему-то всякій разъ приходило на память, что она уже приготовила себѣ къ смертному часу саванъ, и что въ томъ же сундукѣ, гдѣ лежитъ этотъ саванъ, спрятаны также ея выигрышные билеты.

— Ты, Анютинька, будь милостива ради праздника,—сказала она, отворяя дверь въ кухню.—Прости его, ужъ Богъ съ нимъ! Ну ихъ!

Среди кухни на колѣняхъ стоялъ кучеръ Пантелей, уволенный за пьянство еще въ ноябрѣ. Это былъ добрый человѣкъ, но во хмелю онъ бывалъ буенъ и никакъ не могъ уснуть, а все ходилъ въ корпуса и кричалъ тамъ угрожающимъ тономъ: „Мнѣ все извѣстно!“ Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазамъ, налитымъ кровью, видно было, что съ ноября до праздника онъ пилъ не переставая.

— Простите, Анна Акимовна!— проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ, стукнувъ лбомъ о полъ и показывая свой бычій затылокъ.

— Тебя тетушка уволила, у нея и проси.

— Что тетушка?— говорила тетушка, входя въ кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ея груди могли бы помѣститься самоваръ и подносъ съ чашками.— Что тамъ еще тетушка? Ты тутъ хозяйка, ты и распоряжайся, а по мнѣ ихъ, подлецовъ, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боровъ!— крикнула она на Пантелея, не вытерпѣвъ.— Пошелъ съ глазъ! Послѣдній разъ тебя прощаю, а случится опять грѣхъ — не проси милости!

Затѣмъ пошли въ столовую пить кофе. Но едва сѣли за столъ, какъ опрометью вбѣжала нижняя Маша и проговорила съ ужасомъ: „Пѣвчіе!“— и побѣжала назадъ. Послышались сморканье, низкій басовый кашель и шумъ шаговъ, похожій на то, какъ будто въ переднюю около залы вводили подкованныхъ лошадей. На полминуты все затихло...

Пѣвчіе вскрикнули внезапно и такъ громко, что всѣ вздрогнули. Пока они пѣли, пріѣхалъ богадѣленскій батюшка, а съ нимъ дьяконъ и дьячокъ. Надѣвая епитрахиль, батюшка медленно разсказалъ, что ночью, когда звонили къ утрени, шелъ снѣгъ и было не холодно, а къ утру морозъ сталъ крѣпчать, Богъ съ нимъ, и теперь, должно быть, градусовъ двадцать.

— Многіе, однако, утверждаютъ, что зима для человѣка здоровѣе, чѣмъ лѣто,— сказалъ дьяконъ, но тотчасъ же придалъ своему лицу суровое выраженіе и запѣлъ вслѣдъ за священникомъ: „Рождество Твое, Христе Боже нашъ...“

Вскорѣ пріѣхалъ батюшка изъ чернорабочей больницы съ дьячкомъ, потомъ сестры изъ общины, дѣти изъ пріюта, и пѣніе слышалось почти непрерывно. Пѣли, закусывали и уходили.

Пришли съ поздравленіемъ служащіе на заводѣ, человѣкъ двадцать. Тутъ были одни только старшіе: механики, ихъ помощники, модельщики, бухгалтеръ и проч.,— всѣ благообразные, въ новыхъ черныхъ сюртукахъ. Все это были молодцы, точно на подборъ, каждый зналъ себѣ цѣну, т.-е. зналъ, что, потерявъ онъ сегодня мѣсто, завтра же его съ удовольствіемъ пригласятъ на другой заводъ. Повидимому, тетушку они любили, такъ какъ держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтеръ, когда толпой подходили къ закускѣ, взялъ ее за широкую талію. Развязны они были отчасти и оттого, быть-можетъ, что Варварушка, имѣвшая при старикахъ большую власть и слѣдившая за нравственностью служащихъ, теперь не имѣла въ

домѣ никакого значенія, а, быть-можетъ, и оттого, что многіе изъ нихъ еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали въ строгости, была одѣта простою бабой, на манеръ Агаѳьюшки, и когда Анна Акимовна бѣгала по двору около корпусовъ, и всѣ звали ее Анюткой.

Служащіе кушали, говорили и посматривали съ недоумѣніемъ на Анну Акимовну: какъ она выросла, какъ похорошѣла! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями дѣвушка была уже чужая для нихъ, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила имъ *ты*, угощала ихъ непрерывно и, чокаясь съ ними, уже выпила двѣ рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона въ павлиньихъ перьяхъ; и теперь, пока служащіе толпились около закуски, она не выходила изъ столовой и вмѣшивалась въ разговоръ. У своего вчерашняго знакомаго Пименова она спросила:

— Отчего у васъ въ комнатѣ такъ много часовъ?

— Я въ починку беру,— отвѣтилъ онъ.— Занимаюсь этакъ между дѣломъ, по праздникамъ, или когда не спится.

— Значитъ, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вамъ ихъ въ починку?— спросила Анна Акимовна смѣясь.

— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,— сказалъ Пименовъ, и на лицѣ его выразилось умиленіе, когда она, сама не зная зачѣмъ, отцѣпила отъ корсажа свои великолѣпные часики и подала ему; онъ молча

осмотрѣлъ ихъ и возвратилъ.— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,— повторилъ онъ.— Я уже не починяю карманныхъ часовъ. У меня зрѣніе слабое, и докторъ запретилъ мнѣ заниматься мелкой работой. Но для васъ я могу сдѣлать исключеніе.

— Доктора врутъ,—сказалъ бухгалтеръ; всѣ засмѣялись. — Ты не вѣрь имъ, — продолжалъ онъ, польщенный этимъ смѣхомъ. — Въ прошломъ году, въ посту, изъ барабана зубъ выскочилъ и угораздилъ прямо въ старика Калмыкова, въ голову, такъ что мозгъ видать было, и докторъ сказалъ, что помретъ; одначе, до сихъ поръ живъ и работаетъ, только послѣ этой штуки заикаться сталъ.

— Врутъ-то врутъ доктора, да не очень,—вздохнула тетушка.— Петръ Андреичъ покойничекъ потерялъ глаза. Такъ же вотъ, какъ ты, день денской работалъ на заводѣ около горячей печки и ослѣпъ. Глаза не любятъ жара. Ну, да что толковать?—встрепенулась она.—Пойдемъ выпьемъ! Съ праздничкомъ васъ поздравляю, голубчики мои. Ни съ кѣмъ не пью, а съ вами выпью, грѣшница. Дай Богъ!

Аннѣ Акимовнѣ казалось, что Пименовъ послѣ вчерашняго презираетъ ее, какъ филантропку, но очарованъ ею, какъ женщиной. Она смотрѣла на него и находила, что онъ держится очень мило и одѣтъ прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талія высокая и брюки не модныя, не широкія, но зато галстукъ повязанъ со вкусомъ и небрежно, и не такъ ярокъ, какъ у другихъ. И, повидимому, онъ добродушный человѣкъ, такъ какъ покорно кушаетъ все, что кладетъ ему

на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой онъ вчера былъ черный, и какъ ему хотѣлось спать, и это воспоминаніе почему-то растрогало ее.

Когда служащіе собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку; ей хотѣлось сказать ему, чтобъ онъ какъ-нибудь запросто пришелъ посидѣть, но не сумѣла: какъ-то языкъ не послушался; и чтобы не подумали, что Пименовъ ей понравился, она товарищамъ его подала руку.

Затѣмъ пришли ученики той школы, гдѣ она была попечительницей. Всѣ они были острижены и одѣты въ однообразныя сѣрыя блузы. Учитель,— высокій, еще безусый молодой человѣкъ съ красными пятнами на лицѣ, — замѣтно волнуясь, выстроилъ учениковъ въ ряды; мальчики запѣли стройно, но рѣзкими, непріятными голосами. Директоръ завода, Назарычъ, лысый, остроглазый старовѣръ, никогда не ладилъ съ учителями, но этого, который теперь суетливо помахивалъ рукой, онъ презиралъ и ненавидѣлъ, самъ не зная за что. Онъ обращался съ нимъ высокомѣрно и грубо, задерживалъ жалованье и вмѣшивался въ преподаваніе, и, чтобы окончательно выжить его, недѣли за двѣ до праздника опредѣлилъ въ школу сторожемъ дальняго родственника своей жены, пьянаго мужика, который не слушался учителя и при ученикахъ говорилъ ему дерзости.

Аннѣ Акимовнѣ все это было извѣстно, но помочь она не могла, такъ какъ сама боялась Назарыча. Теперь ей хотѣлось, по крайней мѣрѣ, обласкать учителя, сказать ему, что она имъ очень довольна, но когда послѣ пѣнія онъ сталъ сильно

конфузиться и извиняться въ чемъ-то, и когда тетушка, говоря ему *ты*, фамильярно потащила его къ столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказавъ дать дѣтямъ гостинцевъ, пошла къ себѣ наверхъ.

— Въ этихъ праздничныхъ порядкахъ, въ сущности, много жестокаго,—сказала она, немного погодя, какъ бы про себя, гляда въ окно на мальчиковъ, какъ они толпою шли отъ дома къ воротамъ и на ходу надѣвали свои шубы и пальто. — Въ праздники хочется отдыхать, сидѣть дома съ родными, а бѣдные мальчики, учитель, служащіе обязаны почему-то итти по морозу, потомъ поздравлять, выражать свое почтеніе, конфузиться...

Мишенька, стоявшій тутъ же въ залѣ у дверей и слышавшій это, сказалъ:

— Не отъ насъ это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человѣкъ, Анна Акиновна, но такъ понимаю, что бѣдные должны всегда почитать богатыхъ. Сказано: Богъ шельму мѣтитъ. Въ острогахъ, въ ночлежныхъ домахъ и въ кабакахъ всегда только одни бѣдные, а порядочные люди, замѣтьте, всегда богатые. Про богатыхъ сказано: бездна бездну призываетъ.

— Вы, Миша, всегда выражаетесь какъ-то скучно и непонятно,—сказала Анна Акимовна и пошла въ другой конецъ залы.

Былъ только двѣнадцатый часъ вначалѣ. Тишина громадныхъ комнатъ, нарушаемая только изрѣдка пѣніемъ, доносившимся изъ нижняго этажа, нагоняла зѣвоту. Бронза, альбомы и картины на стѣнахъ, изображавшія море съ корабликами, лугъ

съ коровками и рейнскіе виды были до такой степени не новы, что взглядъ только скользилъ по нимъ и не замѣчалъ ихъ. Праздничное настроеніе стало уже прискучать. Анна Акимовна попрежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надѣла неизвѣстно для кого и для чего. И ее уже, какъ это бывало во всѣ праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ея красота, здоровье, богатство—одинъ лишь обманъ, такъ какъ она лишняя на этомъ свѣтѣ, никто ее не любитъ. Она прошлась по всѣмъ комнатамъ, напѣвая и поглядывая въ окна. Остановившись въ залѣ, она не могла удержаться, чтобы не заговорить съ Мишенькой.

— Не знаю, Миша, что вы о себѣ думаете,—сказала она и вздохнула. — Право, за это даже Богъ накажетъ.

— Вы о чемъ-съ?

— Вы знаете, о чемъ. Извините, что я вмѣшиваюсь въ ваши личныя дѣла, но мнѣ кажется, что вы сами изъ упрямства портите себѣ жизнь. Согласитесь, вамъ теперь какъ разъ самая пора жениться, а она дѣвушка прекрасная, достойная. Лучше ея вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!.. Принадлежи она къ нашему, или высшему кругу, въ нее влюблялись бы за одни чудные рыжіе волосы. Посмотрите, какъ у нея волосы подходятъ къ цвѣту лица. Ахъ, Боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вамъ нужно, — сказала съ го-

речью Анна Акимовна, и слезы выступили у нея на глазахъ.—Бѣдная дѣвочка, мнѣ ее такъ жалко! Я знаю, вы хотите взять съ деньгами, но я вамъ уже говорила: я за Машей дамъ приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовалъ въ воображеніи не иначе, какъ въ видѣ высокой, полной, солидной и благочестивой женщины съ походкой какъ у павы и почему-то непремѣнно съ длинною шалью на плечахъ, а Маша худа и тонка, стянута въ корсетъ, и походка у нея мелкая, а главное, она была слишкомъ соблазнительна и подчасъ сильно нравилась Мишенькѣ, но это, по его мнѣнію, годилось не для брака, а лишь для дурного поведенія. Когда Анна Акимовна пообѣщала дать приданое, то онъ нѣкоторое время колебался; но какъ-то бѣдный студентъ въ коричневомъ пальто поверхъ мундира, приходившій къ Аннѣ Акимовнѣ съ письмомъ, не могъ удержаться и, восхищенный, обнялъ Машу внизу около вѣшалокъ, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лѣстницѣ, видѣлъ это и съ той поры сталъ питать къ Машѣ брезгливое чувство. Бѣдный студентъ! Кто знаетъ, если бы ее обнялъ богатый студентъ или офицеръ, то послѣдствія были бы другія...

— Отчего же вы не хотите?—спрашивала теперь Анна Акимовна.—Чего вамъ еще нужно?

Мишенька молчалъ и неподвижно глядѣлъ на кресло, поднявъ брови.

— Вы любите другую?

Молчаніе. Вошла рыжая Маша съ письмами и визитными карточками на подносѣ. Догадавшись, что разговоръ шелъ о ней, она покраснѣла до слезъ.

— Почтальоны приходили,—пробормотала она.— И тамъ пришелъ какой-то чиновникъ Чаликовъ и дожидается внизу. Говоритъ, что вы приказали ему зачѣмъ-то притти сегодня.

— Какая наглость! — разсердилась Анна Акимовна. — Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтобъ онъ убирался, меня дома нѣтъ!

Послышался звонокъ. Это были священники изъ своего прихода; ихъ всегда принимали въ благородной половинѣ, то-есть наверху. Вслѣдъ за попами пришли съ визитомъ директоръ завода Назарычъ и фабричный докторъ, потомъ Мишенька доложилъ объ инспекторѣ народныхъ училищъ. Пріемъ визитеровъ начался.

Когда выпадали свободныя минутки, Анна Акимовна садилась въ гостиной въ глубокое кресло и, закрывъ глаза, думала о томъ, что одиночество ея вполнѣ естественно, такъ какъ она не вышла замужъ и никогда не выйдетъ. Но въ этомъ не она виновата. Сама судьба изъ простой рабочей обстановки, гдѣ, если вѣрить воспоминаніямъ, ей было такъ удобно и по себѣ, бросила ее въ эти громадныя комнаты, гдѣ она никакъ не можетъ придумать, что съ собой дѣлать, и не можетъ понять, для чего предъ ней мелькаетъ такъ много людей; то, что происходило, казалось ей ничтожнымъ, ненужнымъ, такъ какъ ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

„Вотъ влюбиться бы,—думала она, потягиваясь, и отъ одной этой мысли у нея около сердца становилось тепло. — И отъ завода избавиться бы...— мечтала она, воображая, какъ съ ея совѣсти сва-

ливаются всѣ эти тяжелые корпуса, бараки, школа... Затѣмъ она вспомнила отца и подумала, что если бы онъ жилъ дольше, то, навѣрное, выдалъ бы ее за простого человѣка, напримѣръ, за Пименова. Приказалъ бы ей выходить за него, — вотъ и все. И это было бы хорошо: заводъ тогда попалъ бы въ настоящія руки.

Она представила себѣ его курчавую голову, смѣлый профиль, тонкія, насмѣшливыя губы и силу, страшную силу въ его плечахъ, рукахъ, въ груди и то умиленіе, съ какимъ онъ сегодня разсматривалъ ея часики.

— Что жъ? — проговорила она. — И ничего бы... Я бы вышла.

— Анна Акимовна! — позвалъ ее Мишенька, неслышно войдя въ гостиную.

— Какъ вы меня испугали! — сказала она, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ. Что вамъ?

— Анна Акимовна! — повторилъ онъ, прикладывая руку къ сердцу и поднимая брови. - Вы — моя госпожа и благодѣтельница и вы одна только можете наставлять меня насчетъ брака, такъ какъ вы для меня все равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смѣялись и не дразнили. Проходу не даютъ.

— А какъ они васъ дразнятъ?

— Говорятъ: Машенькинъ Мишенька.

— Фуй, какой вздоръ! — возмутилась Анна Акимовна. — Какъ вы всѣ глупы! Какой вы глупый, Миша! Какъ вы надоѣли мнѣ! Я васъ видѣть не хочу!

III.

Обѣдъ.

Какъ и въ прошломъ году, послѣдніе пріѣхали съ визитомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Крылинъ и извѣстный адвокатъ Лысевичъ. Пріѣхали они, когда на дворѣ становилось уже темно. Крылинъ, старикъ за 60 лѣтъ, съ широкимъ ртомъ и съ сѣдыми бакенами около ушей, похожій лицомъ на рысь, былъ въ мундирѣ съ аннинскою лентой и въ бѣлыхъ штанахъ. Онъ долго держалъ руку Анны Акимовны въ своихъ обѣихъ рукахъ, глядѣлъ ей пристально въ лицо, шевелилъ губами и, наконецъ, сказалъ съ разстановкой, въ одну ноту:

— Я уважалъ вашего дядюшку... и батюшку, и пользовался ихъ расположеніемъ. Теперь считаю пріятнымъ долгомъ, какъ видите, поздравить ихъ уважаемую наслѣдницу... несмотря на болѣзнь и на значительное разстояніе... И весьма радъ видѣть васъ въ добромъ здоровьи.

Присяжный повѣренный Лысевичъ, высокій красивый блондинъ, съ легкою просѣдью въ вискахъ и бородѣ, отличается необыкновенно изящными манерами. Онъ входитъ съ перевальцемъ, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводитъ плечами, и все это съ лѣнивою граціей, какъ застоявшійся, избалованный конь. Онъ сытъ, чрезвычайно здоровъ и богатъ; разъ даже выигралъ сорокъ тысячъ, но скрылъ это отъ своихъ знакомыхъ. Любитъ хорошо

покушать, особенно сыры, трюфели, тертую рѣдьку съ коноплянымъ масломъ, а въ Парижѣ, по его словамъ, онъ ѣлъ жареныя немытыя кишки. Говоритъ онъ складно, плавно, безъ запинки, и лишь изъ кокетства иной разъ позволитъ себѣ запнуться и щелкнетъ пальцами, какъ бы подбирая слово. Во все то, что ему приходится говорить на судѣ, онъ давно уже не вѣритъ, или, быть-можетъ, и вѣритъ, но не придаетъ этому никакой цѣны, — все это давно уже извѣстно, старо, обыкновенно... Онъ вѣритъ въ одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль въ оригинальной формѣ вызываетъ у него слезы. Обѣ записныя книжки у него исписаны необыкновенными выраженіями, которыя онъ вычитываетъ у разныхъ авторовъ, и когда ему нужно бываетъ отыскать какое-нибудь выраженіе, то онъ нервно роется въ обѣихъ книжкахъ и обыкновенно не находитъ. Еще покойный Акимъ Ивановичъ въ веселую минуту изъ тщеславія пригласилъ его въ повѣренные по дѣламъ завода и назначилъ ему двѣнадцать тысячъ жалованья. Всѣ заводскія дѣла заключались въ двухъ-трехъ мелкихъ взысканіяхъ, которыя Лысевичъ поручалъ своимъ помощникамъ.

Анна Акимовна знала, что на заводѣ ему нечего дѣлать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла къ нему. Онъ называлъ себя ея юрисконсультомъ, а свое жалованье, за которымъ онъ присылалъ акуратно каждое первое число, — суровою прозой. Аннѣ Акимовнѣ было извѣстно, что когда послѣ смерти отца продавали ея лѣсъ на шпалы, то Лысевичъ нажилъ на этой продажѣ больше пятнадцати тысячъ и подѣлился съ Наза-

рычемъ. Узнавши объ этомъ обманѣ, Анна Акимовна горько заплакала, но потомъ привыкла.

Поздравивъ и поцѣловавъ обѣ руки, онъ смѣрилъ ее взглядомъ и поморщился.

— Не надо! — сказалъ онъ съ искреннимъ огорченіемъ. — Я говорилъ, милая, не надо!

— Вы о чемъ, Викторъ Николаевичъ?

— Я говорилъ: не надо полнѣть. Въ вашемъ роду у всѣхъ несчастная наклонность къ полнотѣ. Не надо — повторилъ онъ умоляющимъ голосомъ и поцѣловалъ руку. — Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вотъ, ваше превосходительство, — обратился онъ къ Крылину, — рекомендую: единственная въ свѣтѣ женщина, которую я когда-либо серьезно любилъ.

— Это неудивительно. Быть въ ваши годы знакомымъ съ Анной Акимовной и не любить ея — это невозможно.

— Я ее обожаю! — продолжалъ адвокатъ совершенно искренно, но со своею обычною лѣнивою граціей. — Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я съ ней, то кажется, что она какого-то третьяго пола, а я четвертаго, и мы уносимся вмѣстѣ въ область тончайшихъ цвѣтовыхъ оттѣнковъ и тамъ сливаемся въ спектръ. Лучше всѣхъ опредѣляетъ подобныя отношенія le comte Delisle. У него есть одно превосходное мѣсто, удивительное мѣсто.

Лысевичъ порылся въ одной книжкѣ, потомъ въ другой и, не найдя изреченія, успокоился. Стали говорить о погодѣ, объ оперѣ, о томъ, что скоро пріѣдетъ Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевичъ и, кажется, Крылинъ въ прошломъ году обѣ-

дали у нея, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющимъ голосомъ стала доказывать имъ, что такъ какъ они уже больше никуда не поѣдутъ съ визитомъ, то должны остаться у нея пообѣдать. Послѣ нѣкотораго колебанія гости согласились.

Кромѣ обѣда, состоящаго изъ щей, поросенка, гуся съ яблоками и проч., на кухнѣ въ большіе праздники готовили еще такъ называемый французскій или поварской обѣдъ, на случай, если кто изъ гостей въ верхнемъ этажѣ пожелаетъ откушать. Когда въ столовой застучали посудой, Лысевичъ сталъ проявлять замѣтное возбужденіе; онъ потиралъ руки, поводилъ плечами, жмурился и съ чувствомъ разсказывалъ о томъ, какіе обѣды когда-то задавали старики и какой чудесный матлотъ изъ налимовъ умѣетъ готовить здѣшній поваръ, — не матлотъ, а откровеніе! Онъ предвкушалъ обѣдъ, уже ѣлъ его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его подъ руку въ столовую, и онъ, наконецъ, выпилъ рюмку водки и положилъ себѣ въ ротъ кусокъ семги, то даже замурлыкалъ отъ удовольствія. Жевалъ онъ громко, противно, издавая носомъ какіе-то звуки, и глаза его при этомъ становились масляными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочимъ, свѣжіе бѣлые грибы въ сметанѣ и соусъ провансаль изъ жареныхъ устрицъ и раковыхъ шеекъ, сильно сдобренный горькими пикулями. Самый обѣдъ состоялъ изъ праздничныхъ, изысканныхъ блюдъ, и вина были прекрасныя. Мишенька прислуживалъ за столомъ съ упоеніемъ. Когда онъ ставилъ на

столъ какое-нибудь новое кушанье и снималъ съ блестящей кастрюли крышку и наливалъ вино, то дѣлалъ это съ важностью профессора черной магіи, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокатъ нѣсколько разъ подумалъ: „Какой дуракъ!“

Послѣ третьяго блюда Лысевичъ говорилъ, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ:

— Женщина fin de siècle,— я разумѣю молодую и, конечно, богатую, – должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смѣла и немножко развратна. Развратна въ мѣру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомленіе. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, какъ всѣ, а смаковать жизнь, а легкій развратъ есть соусъ жизни. Варойтесь въ цвѣты съ одуряющимъ ароматомъ, задыхайтесь въ мускусѣ, ѣшьте гашишъ, а, главное, любите, любите и любите... На первыхъ порахъ я на вашемъ мѣстѣ завелъ бы себѣ семерыхъ мужчинъ, по числу дней въ недѣлѣ, и одного назвалъ бы Понедѣльникомъ, другого—Вторникомъ, третьяго — Средой и т. д., чтобы каждый зналъ свой день.

Этотъ разговоръ волновалъ Анну Акимовну. Она ничего не ѣла и только выпила рюмку вина.

— Дайте же мнѣ, наконецъ, сказать! — говорила она. — Для себя лично я не понимаю любви безъ семьи. Я одинока, одинока, какъ мѣсяцъ на небѣ, да еще съ ущербомъ, и, что бы вы тамъ ни говорили, я увѣрена, я чувствую, что этотъ ущербъ можно пополнить только любовью въ обыкновенномъ смыслѣ. Мнѣ кажется, что эта любовь опредѣлитъ мои обязанности, мой трудъ, освѣтитъ мое міросозерца-

ніе. Я хочу отъ любви мира моей душѣ, покоя, хочу подальше отъ мускуса и всѣхъ тамъ спиритизмовъ и fin de siècle... однимъ словомъ, — смѣшалась она, — мужъ и дѣти.

— Замужъ хотите? Что жъ, и это можно,—согласился Лысевичъ.—Вамъ все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измѣны, и даже дѣтей... Но торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходитъ, не ждетъ.

— Вотъ возьму и выйду замужъ!—сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо.—Выйду самымъ обыкновеннымъ, самымъ пошлымъ образомъ и буду сіять отъ счастья. И, можете себѣ представить, выйду за простого рабочаго человѣка, за какого-нибудь механика или чертежника.

— И это не дурно. Герцогиня Джосіана полюбила Гуинплена, и это ей позволяется, потому что она герцогиня; вамъ тоже все позволяется, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра, или арапа, то не стѣсняйтесь, выписывайте себѣ негра. Ни въ чемъ себѣ не отказывайте. Вы должны быть такъ же смѣлы, какъ ваши желанія. Не отставайте отъ нихъ.

— Неужели меня такъ трудно понять?—спросила Анна Акимовна съ изумленіемъ, и глаза ея заблестѣли отъ слезъ.—Поймите же, у меня на рукахъ громадное дѣло, двѣ тысячи рабочихъ, за которыхъ я должна отвѣтить передъ Богомъ. Люди, которые работаютъ на меня, слѣпнутъ и глохнутъ. Мнѣ страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имѣете жестокость говорить мнѣ о какихъ-то неграхъ и... и улыбаетесь!—Анна Акимовна ударила кулакомъ

по столу. — Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же празднаго, неумѣлаго человѣка, какъ я, было бы просто преступленіемъ. Я не могу больше такъ жить, — сказала она горячо, — не могу!

— Какъ она хороша! — проговорилъ Лысевичъ, восхищаясь ею. — Богъ мой, какъ она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я неправъ, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которыя я, впрочемъ, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себѣ въ жизненной радости, то рабочимъ станетъ отъ этого легче? Ничуть! Нѣтъ, развратъ, развратъ! — сказалъ онъ рѣшительно. — Вамъ необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселѣла. Ей нравилось, что она такъ хорошо говорила и такъ честно и красиво мыслитъ, и она была уже увѣрена, что если бы, напримѣръ, Пименовъ полюбилъ ее, то она пошла бы за него съ удовольствіемъ.

Мишенька сталъ наливать шампанское.

— Вы меня злите, Викторъ Николаевичъ,— сказала она, чокаясь съ адвокатомъ. — Мнѣ досадно, что вы даете совѣты, а сами совсѣмъ не знаете жизни. По-вашему, если механикъ или чертежникъ, то ужъ непремѣнно мужикъ и невѣжа. А это умнѣйшіе люди! Необыкновенные люди!

— Вашъ батюшка и дядюшка... я ихъ зналъ и уважалъ,—проговорилъ съ разстановкой Крылинъ, который сидѣлъ, вытянувшись какъ истуканъ, и все время, не переставая, ѣлъ, — были люди зна-

чительнаго ума и... и высокихъ душевныхъ качествъ.

— Ладно, знаемъ мы эти качества! — пробормоталъ адвокатъ и попросилъ позволенія закурить.

Когда кончился обѣдъ, Крылина увели отдыхать. Лысевичъ докурилъ сигару и, покачиваясь отъ сытости, пошелъ за Анной Акимовной въ ея кабинетъ. Укромные уголки съ фотографіями, вѣерами на стѣнахъ и съ неизбѣжнымъ розовымъ или голубымъ фонаремъ среди потолка онъ не любилъ, какъ выраженіе вялаго, неоригинальнаго характера; къ тому же, воспоминанія о нѣкоторыхъ его романахъ, которыхъ онъ теперь стыдился, были у него связаны съ этимъ фонаремъ. Кабинетъ же Анны Акимовны съ голыми стѣнами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидѣть на турецкомъ диванѣ и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидѣла на коврѣ передъ каминомъ и, охвативъ колѣни руками, глядѣла на огонь и о чемъ-то думала, и въ это время ему казалось, что въ ней играетъ мужицкая, старовѣрская кровь.

Всякій разъ послѣ обѣда, когда подавали кофе и ликеръ, онъ оживлялся и разсказывалъ ей разныя литературныя новости. Говорилъ онъ витіевато, вдохновенно, самъ увлекался своимъ разсказомъ, а она слушала его и всякій разъ думала, что за такое удовольствіе можно заплатить не двѣнадцать тысячъ, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось въ немъ. Случалось, что онъ разсказывалъ ей содержаніе повѣстей и даже романовъ, и тогда два или три часа проходили неза-

мѣтно, какъ минуты. Теперь онъ началъ какъ-то кисло, разслабленнымъ голосомъ и закрывши глаза.

— Я, милая, давно ужъ ничего не читалъ,— сказалъ онъ, когда она попросила его разсказать что-нибудь.—Впрочемъ, иногда читаю Жюля Верна.

— А я думала, что вы разскажете мнѣ что-нибудь новенькое.

— Гмъ... новенькое,— сонно пробормоталъ Лысевичъ и еще глубже забился въ уголъ дивана.— Вся новенькая литература, милая моя, для насъ съ вами не подходитъ. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ея—значило бы не признавать естественнаго порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевичъ, казалось, уснулъ. Но черезъ минуту опять послышался его голосъ:

— Вся новенькая литература, на манеръ осенняго вѣтра въ трубѣ, стонетъ и воетъ: „Ахъ, несчастный! ахъ, жизнь твою можно уподобить тюрьмѣ! ахъ, какъ тебѣ въ тюрьмѣ темно и сыро! ахъ, ты непремѣнно погибнешь, и нѣтъ тебѣ спасенія!“ Это прекрасно, но я предпочелъ бы литературу, которая учитъ, какъ бѣжать изъ тюрьмы. Изъ всѣхъ современныхъ писателей я почитываю, впрочемъ, иногда одного Мопасана.—Лысевичъ открылъ глаза.—Хорошій писатель, превосходный писатель!— Лысевичъ задвигался на диванѣ. — Удивительный художникъ! Страшный, чудовищный, сверхъестественный художникъ! —Лысевичъ всталъ съ дивана и поднялъ кверху правую руку.—Мопасанъ!—сказалъ онъ въ восторгѣ.—Милая, читайте Мопасана! Одна страница его дастъ вамъ больше, чѣмъ всѣ

богатства земли. Что ни строка, то новый горизонтъ. Мягчайшія, нѣжнѣйшія движенія души смѣняются сильными, бурными ощущеніями, ваша душа точно подъ давленіемъ сорока тысячъ атмосферъ обращается въ ничтожнѣйшій кусочекъ какого-то вещества неопредѣленнаго, розоватаго цвѣта, которое, какъ мнѣ кажется, если бы можно было положить его на языкъ, дало бы терпкій, сладострастный вкусъ. Какое бѣшенство переходовъ, мотивовъ, мелодій! Вы покоитесь на ландышахъ и розахъ, и вдругъ мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетаетъ на васъ, какъ локомотивъ, и обдаетъ васъ горячимъ паромъ и оглушаетъ свистомъ. Читайте, читайте Мопасана! Милая, я этого требую!

Лысевичъ замахалъ руками и въ сильномъ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ.

— Нѣтъ, это невозможно! — проговорилъ онъ, какъ бы въ отчаяніи.—Послѣдняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь къ ней равнодушны. Чтобъ она увлекла васъ, надо ее смаковать, медленно выжимать сокъ изъ каждой строчки, пить... Надо ее пить!

Послѣ длиннаго вступленія, въ которомъ было много такихъ словъ, какъ демоническое сладострастіе, сѣть изъ тончайшихъ нервовъ, самумъ, кристаллъ и т. п., онъ, наконецъ, сталъ разсказывать содержаніе романа. Разсказывалъ онъ уже не такъ вычурно, но очень подробно, приводя наизусть цѣлыя описанія и разговоры; дѣйствующія лица романа восхищали его и, характеризуя ихъ, онъ становился въ позы, мѣнялъ выраженіе лица и

голосъ, какъ настоящій актеръ. Отъ восторга онъ хохоталъ то басомъ, то очень тонкимъ голоскомъ, всплескивалъ руками или хваталъ себя за голову съ такимъ выраженіемъ, какъ будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала съ восхищеніемъ, хотя уже читала этотъ романъ, и въ передачѣ адвоката онъ казался ей во много разъ красивѣе и сложнѣе, чѣмъ въ книжкѣ. Онъ обращалъ ея вниманіе на разныя тонкости и подчеркивалъ счастливыя выраженія и глубокія мысли, но она видѣла только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, какъ будто была дѣйствующимъ лицомъ романа; у нея поднимало духъ, и она сама, тоже хохоча и всплескивая руками, думала о томъ, что такъ жить нельзя, что нѣтъ надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспоминала свои слова и мысли за обѣдомъ и гордилась ими, и когда въ воображеніи вдругъ выросталъ Пименовъ, то ей было весело и хотѣлось, чтобы онъ полюбилъ ее.

Кончивши разсказывать, Лысевичъ, изнеможенный, сѣлъ на диванъ,

— Какая вы славная! Какая хорошая!—началъ онъ, немного погодя, слабымъ голосомъ, точно больной.—Я, милая, счастливъ около васъ, но, все-таки, зачѣмъ мнѣ сорокъ-два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадаютъ: вы должны быть развратны, а я давно уже пережилъ этотъ фазисъ и хочу любви тончайшей, не матеріальной, какъ солнечный лучъ, то-есть, съ точки зрѣнія женщины вашихъ лѣтъ, я уже ни къ чорту негоденъ.

Онъ, по его словамъ, любилъ Тургенева, пѣвца

дѣвственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но самъ онъ любилъ дѣвственную любовь не вблизи, а по наслышкѣ, какъ нѣчто отвлеченное, существующее внѣ дѣйствительной жизни. Теперь онъ увѣрялъ себя, что Анну Акимовну онъ любитъ платонически, идеально, хотя самъ не зналъ, что это значитъ. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и онъ думалъ, что пріятное самочувствіе, вызываемое въ немъ этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Онъ припалъ щекой къ ея рукѣ и сказалъ тономъ, какимъ обыкновенно ласкаютъ маленькихъ дѣтей:

— Ду́ся моя, а за что вы меня оштрафовали?

— Какъ? Какъ?

— Я къ празднику не получилъ отъ васъ наградныхъ.

Раньше Аннѣ Акимовнѣ ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату къ праздникамъ посылались наградныя, и теперь она находилась въ затрудненіи: сколько ему дать? А дать было нужно, такъ какъ онъ ждалъ, хотя смотрѣлъ на нее глазами, полными любви.

— Должно-быть, Назарычъ забылъ, — сказала она.—Но это не поздно поправить.

Вдругъ она вспомнила про вчерашнія полторы тысячи, которыя лежали у нея теперь въ спальнѣ, въ туалетномъ столикѣ. И когда она принесла эти несимпатичныя деньги и подала ихъ адвокату, и онъ съ лѣнивою граціей сунулъ ихъ въ боковой

карманъ, то все это произошло какъ-то мило и естественно. Неожиданное напоминаніе о наградныхъ и эти полторы тысячи были къ лицу адвокату.

— Merçi,—сказалъ онъ и поцѣловалъ ей палецъ.

Вошелъ Крылинъ съ заспаннымъ блаженнымъ лицомъ, но уже безъ орденовъ.

Онъ и Лысевичъ посидѣли еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, гдѣ служитъ Крылинъ, и нужно ли давать ему деньги или нѣтъ, а если нужно, то теперь дать или послать въ конвертѣ.

— Гдѣ онъ служитъ? — шепнула она Лысевичу.

— А чортъ его знаетъ,—пробормоталъ адвокатъ, зѣвая.

Она сообразила, что если Крылинъ бывалъ у дяди и отца и уважалъ ихъ, то не даромъ: очевидно, дѣлалъ добрыя дѣла на ихъ счетъ, служа въ какомъ-нибудь благотворительномъ обществѣ. Она, прощаясь, сунула ему въ руку триста рублей; онъ какъ бы изумился и минуту молча смотрѣлъ на нее оловянными глазами, но потомъ какъ бы понялъ и сказалъ:

— Но квитанцію, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше новаго года.

Лысевичъ совсѣмъ уже раскисъ и отяжелѣлъ и шатался, когда Мишенька надѣвалъ на него шубу. А спускаясь внизъ, онъ имѣлъ видъ совершеннаго разслабленнаго, и видно было, что какъ только онъ сядетъ въ сани, то уснетъ тотчасъ же.

— Ваше превосходительство,—сказалъ онъ Крылину томно, останавливаясь среди лѣстницы,—не

приходилось ли вамъ испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягиваетъ васъ въ длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконецъ, обращаетесь въ тончайшую проволоку? Субъективно это выражается въ какомъ-то особенномъ сладострастномъ чувствѣ, которое ни съ чѣмъ сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видѣла, какъ оба они дали Мишенькѣ по бумажкѣ.

— Не забывайте! До свиданія!—крикнула она имъ и побѣжала къ себѣ въ спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надѣла капотъ и побѣжала внизъ. И когда бѣжала по лѣстницѣ, то смѣялась и стучала ногами какъ мальчишка. Ей сильно хотѣлось шалить

IV.

Вечеръ.

Тетушка въ просторной ситцевой блузѣ, Варварушка и еще какихъ-то двѣ старушки сидѣли въ столовой и ужинали. Передъ ними на столѣ лежали большой кусокъ солонины, окорокъ и разныя соленыя закуски, и отъ солонины, очень жирной и вкусной на видъ, валилъ къ потолку паръ. Въ нижнемъ этажѣ виноградныхъ винъ не употребляли, но зато было много разнаго рода водокъ и наливокъ. Кухарка Агаѳьюшка, полная, бѣлая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка съ пунцовою лентой въ

волосахъ. Старухи были сыты еще съ утра и за часъ до ужина пили чай со сладкимъ сдобнымъ пирогомъ, а потому ѣли теперь черезъ силу, какъ бы по обязанности.

— Охъ, матушки! — охнула тетушка, когда въ столовую вдругъ вбѣжала Анна Акимовна и сѣла на стулъ рядомъ съ ней. — Испугала до смерти!

Въ домѣ любили, когда Анна Акимовна бывала въ духѣ и дурачилась; это всякій разъ напоминало, что старики уже умерли, а старухи въ домѣ не имѣютъ уже никакой власти, и каждый можетъ жить какъ угодно, не боясь, что съ него сурово взыщутъ. Только двѣ незнакомыя старухи покосились на Анну Акимовну съ недоумѣніемъ: она напѣвала, а за столомъ грѣхъ пѣть.

— Матушка наша, красавица, картина писаная! — начала слащаво причитывать Агаѳьюшка. — Алмазъ нашъ драгоцѣнный!.. Народу-то, народу нынче пріѣзжало нашу королевну глядѣть — Господи твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я въ окно глядѣла-глядѣла, считала-считала, да и бросила.

— А по мнѣ, они хоть бы вовсе не ѣздили, подлецы! — сказала тетушка; она съ грустью поглядѣла на племянницу и добавила: — Только время провели сироткѣ моей бѣдной.

Анна Акимовна была голодна, такъ какъ съ самаго утра ничего не ѣла. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной съ горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потомъ нижняя Маша подала индѣйку, моченыя яблоки и крыжовникъ. И это тоже понравилось. Но только одно было непріятно: отъ израз-

цовой печки вѣяло жаромъ, было душно, и у всѣхъ разгорѣлись щеки. Послѣ ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки съ мятными пряниками, орѣхами и изюмомъ.

— Садись и ты... чего тамъ! — сказала тетушка кухаркѣ.

Агаѳьюшка вздохнула и сѣла за столъ; передъ ней Маша тоже поставила рюмку для наливки, и Аннѣ Акимовнѣ стало уже казаться, что одинаково, какъ отъ печки, такъ и отъ бѣлой шеи Агаѳьюшки, вѣетъ жаромъ. Говорили всѣ о томъ, какъ теперь трудно стало выходить замужъ, что въ прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, чтó имъ нужно, и прежде оставались въ дѣвушкахъ только горбатыя и хромыя, а теперь не берутъ даже красивыхъ и богатыхъ. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тѣмъ, что люди Бога не боятся, но вдругъ вспомнила, что ея братъ Иванъ Ивановичъ и Варварушка — оба святой жизни — и Бога боялись, а все же потихоньку дѣтей рожали и отправляли въ воспитательный домъ; она спохватилась и перевела разговоръ на то, какой у нея когда-то женишокъ былъ, изъ заводскихъ, и какъ она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава Богу, черезъ два года померъ. Нижняя Маша тоже подсѣла къ столу и съ таинственнымъ видомъ разсказала, что вотъ уже недѣля, какъ каждый день по утрамъ во дворѣ показывается какой-то неизвѣстный мужчина съ черными усами и въ пальто съ барашковымъ воротникомъ: войдетъ во дворъ,

поглядитъ на окна большого дома и пойдетъ дальше—къ корпусамъ; мужчина ничего себѣ, видный...

Отъ всѣхъ этихъ разговоровъ Аннѣ Акимовнѣ почему-то вдругъ захотѣлось замужъ, захотѣлось сильно, до тоски; кажется, полжизни и все состояніе отдала бы, только знать бы, что въ верхнемъ этажѣ есть человѣкъ, который для нея ближе всѣхъ на свѣтѣ, что онъ крѣпко любитъ ее и скучаетъ по ней; и мысль объ этой близости, восхитительной, невыразимой на словахъ, взволновала ея душу. И инстинктъ здоровья и молодости льстилъ ей и лгалъ, что настоящая поэзія жизни не пришла, а еще впереди, и она вѣрила и, откинувшись на спинку стула (у нея распустились волосы при этомъ), стала смѣяться, а глядя на нее, смѣялись и остальныя. И въ столовой долго не умолкалъ безпричинный смѣхъ.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лѣтъ пятидесяти, въ черномъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ, остроглазая, остроносая, съ острымъ подбородкомъ; глаза у нея были хитрые, ехидные, и глядѣла она съ такимъ выраженіемъ, какъ будто всѣхъ насквозь видѣла. Губы у нея были сердечкомъ. За ехидство и ненавистничество въ купеческихъ домахъ ее прозвали Жужелицей.

Войдя въ столовую, она, ни на кого не глядя, направилась къ образамъ и запѣла альтомъ „Рождество Твое“, потомъ спѣла „Дѣва днесь“, потомъ „Христосъ рождается“, затѣмъ обернулась и пронизала всѣхъ взглядомъ.

— Съ праздничкомъ!—сказала она и поцѣловала въ плечо Анну Акимовну.—Насилу, насилу добралась до васъ, благодѣтели мои. — Она поцѣловала въ плечо тетушку.—Пошла я къ вамъ еще утромъ, да по дорогѣ къ добрымъ людямъ заходила отдохнуть. „Останься, да останься, Спиридоновна“,—анъ, и не видала, какъ вечеръ насталъ.

Такъ какъ она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всѣхъ исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Аннѣ Акимовнѣ въ ноги.

Какъ это было въ прошломъ и въ третьемъ году, стали играть въ короли, а вся прислуга, сколько ея было въ двухъ этажахъ, столпилась въ дверяхъ, чтобы поглядѣть на игру. Аннѣ Акимовнѣ показалось, что раза два въ толпѣ бабъ и мужиковъ промелькнулъ и Мишенька съ снисходительною улыбкой. Первая вышла въ короли Жужелица, и Анна Акимовна-солдатъ платила ей дань, а потомъ тетушка стала королемъ, и Анна Акимовна попала въ мужики или „тютьки“, что вызвало общій восторгъ, а Агаѳьюшка вышла въ принцы и застыдилась отъ удовольствія. На другомъ концѣ стола составилась еще партія: обѣ Маши, Варварушка и швейка Марѳа Петровна, которую разбудили нарочно для игры въ короли, и лицо у нея было заспанное, злое.

Во время игры разговоръ шелъ о мужчинахъ, о томъ, какъ трудно теперь выйти за хорошаго человѣка, и о томъ, какая доля лучше—дѣвичья или вдовья.

— Дѣвка ты красивая, здоровая, крѣпкая,—сказала Жужелица Аннѣ Акимовнѣ.—Только я никакъ не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

— Что же дѣлать, если никто не беретъ?

— А, можетъ, дала обѣтъ остаться въ дѣвахъ?—продолжала Жужелица, какъ бы не слыша.—Что жъ, хорошее дѣло, оставайся... Оставайся,—повторила она, внимательно и ехидно глядя себѣ въ карты.—Тэкъ, братъ, оставайся... да... Только дѣвы, преподобныя-то эти самыя, разныя бываютъ,—вздохнула она и пошла съ короля.—Охъ, разныя, мать! Однѣ, дѣйствительно, блюдутъ себя словно монашенки и ни сінь пороха, а ежели какая и согрѣшитъ часомъ, то измучится вся, бѣдная, и осуждать грѣхъ. А вотъ другія дѣвушки и въ черныхъ платьяхъ ходятъ, и саваны себѣ шьютъ, а сами-то втихомолку старичковъ богатенькихъ любятъ. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдуетъ старика и властвуетъ надъ нимъ, голубушки мои, властвуетъ, кружитъ его, кружитъ, а какъ набрала побольше денегъ да выгрышныхъ билетовъ, такъ и заколдуетъ до смерти.

Въ отвѣтъ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядѣла на образъ. На лицѣ ея изобразилось христіанское смиреніе.

— Есть у меня одна знакомая дѣвушка такая, врагиня моя лютая,—продолжала Жужелица, оглядывая всѣхъ съ торжествомъ.—Тоже все вздыхаетъ, да все на образа смотритъ, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь къ ней, а она дастъ тебѣ кусокъ и прикажетъ земные поклоны класть, и сама читаетъ: „Въ рожде-

ствѣ дѣвство сохранила еси"... Въ праздникъ дастъ кусокъ, а въ будни попрекаетъ. Ну, а теперь ужъ я натѣшусь надъ ней! Натѣшусь вволю, алмазныя!

Варварушка опять взглянула на образъ и перекрестилась.

— Да, никто меня не беретъ, Спиридоновна,— сказала Анна Акимовна, чтобы перемѣнить разговоръ.—Что подѣлаешь?

— Сама виновата, мать. Все ждешь благородныхъ, да образованныхъ, а шла бы за своего брата-купца.

- Купца не нужно!—сказала тетушка и встревожилась. — Спаси, Царица Небесная! Благородный деньги твои промотаетъ, да зато жалѣть тебя будетъ, дурочка. А купецъ заведетъ такія строгости, что ты въ своемъ же домѣ мѣста себѣ не найдешь. Тебѣ приласкаться къ нему хочется, а онъ купоны рѣжетъ, а сядешь съ нимъ ѣсть, онъ тебя твоимъ же кускомъ хлѣба попрекаетъ: деревенщина!.. Выходи за благороднаго.

Заговорили всѣ сразу, громко перебивая другъ друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орѣховъ и, красная, сердитая, говорила:

— Не надо купца, не надо! А заведешь въ домѣ купца, пойду въ богадѣльню!

— Тш... Тише!—крикнула Жужелица. Когда всѣ утихли, она прищурила одинъ глазъ и сказала:— Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? Выходить замужъ по-настоящему, какъ всѣ, тебѣ не къ чему. Ты человѣкъ богатый, вольный, сама себѣ королева; но и въ старыхъ дѣвкахъ оставаться какъ будто, дѣтка, не годится. Найду-ка я тебѣ, знаешь,

какого-нибудь завалященькаго и простоватенькаго человѣчка, примешь ты для видимости законъ и тогда—гуляй, Малашка! Ну, мужу сунешь тамъ тысячъ пять или десять, и пусть идетъ, откуда пришелъ, а ты дома сама себѣ госпожа,—кого хочешь, того любишь, и никто не можетъ тебя осудить. И люби ты тогда своихъ благородныхъ да образованныхъ. Эхъ, не жизнь, а масленица!—Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула: Гуляй, Малашка!

— А грѣхъ!—сказала тетушка.

— Ну, грѣхъ! — усмѣхнулась Жужелица. — Она образованная, понимаетъ. Человѣка зарѣзать или старика околдовать — грѣхъ, это точно, а любить милаго дружочка даже очень не грѣхъ. Да и что тамъ, право! Никакого грѣха нѣтъ! Все это богомолки выдумали, чтобы простой народъ морочить. Я вотъ тоже вездѣ говорю—грѣхъ да грѣхъ, а сама и не знаю, почему грѣхъ.—Жужелица выпила наливки и крякнула.—Гуляй, Малашка!—сказала она, обращаясь на этотъ разъ, очевидно, къ себѣ самой.—Тридцать лѣтъ, бабочки, думала все о грѣхахъ, да боялась, а теперь вижу: прозѣвала, проворонила! Эхъ, дура я, дура!—вздохнула она.—Бабій вѣкъ — короткій вѣкъ, и каждымъ денечкомъ дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а ужъ какъ стукнетъ тридцать-пять или сорокъ, только и вѣку твоего, пиши конецъ. Не слушай, братъ, никого, живи, гуляй до сорока, а потомъ успѣешь отмолить,—хватитъ времени поклоны бить да саваны шить. Богу свѣчка, валяй и чорту кочергу! Валяй все въ одно мѣсто! Ну, такъ какъ же? Хочешь облагодѣтельствовать человѣчка?

— Хочу, — засмѣялась Анна Акимовна. — Мнѣ теперь все равно, я бы за простого пошла.

— Что жъ, и хорошо бы! Ухъ, какого бы ты тогда себѣ молодца выбрала!—Жужелица зажмурилась и покачала головой.—Ухъ!

— Я и сама ей говорю: благородныхъ не дождешься, такъ шла бы ужъ не за купца, а за кого попроще,—сказала тетушка.—По крайности, взяли бы мы себѣ въ домъ хозяина. А мало ли хорошихъ людей? Хоть нашихъ заводскихъ взять. Всѣ тверезые, степенные...

— А еще бы!—согласилась Жужелица.—Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединскаго Василія посватаю?

— Ну, у Васи ноги длинныя,—сказала тетушка серьезно.—Сухой очень. Виду нѣтъ.

Въ толпѣ около дверей засмѣялись.

— Ну, за Пименова. Хочешь итти за Пименова?—спросила Жужелица у Анны Акимовны.

— Хорошо. Сватай за Пименова.

— Ей Богу?

— Сватай!—сказала рѣшительно Анна Акимовна и ударила по столу.—Честное слово, пойду!

— Ей Богу?

Аннѣ Акимовнѣ вдругъ стало стыдно, что у нея горятъ щеки и что на нее всѣ смотрятъ, она смѣшала на столѣ карты и побѣжала изъ комнаты, и когда бѣжала по лѣстницѣ и потомъ пришла наверхъ и сѣла въ гостиной у рояля, изъ нижняго этажа доносился гулъ, будто море шумѣло; вѣроятно, говорили про нее и про Пименова и, быть-можетъ, пользуясь ея отсутствіемъ, Жужелица оби-

жала Варварушку и ужъ, конечно, не стѣснялась въ выраженіяхъ.

Во всемъ верхнемъ этажѣ горѣла только одна лампа въ залѣ, и ея слабый свѣтъ черезъ дверь проникалъ въ темную гостиную. Былъ десятый часъ, не больше. Анна Акимовна сыграла одинъ вальсъ, потомъ другой, третій,—играла непрерывно. Она смотрѣла въ темный уголъ за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило въ голову: не поѣхать ли сейчасъ въ городъ къ кому-нибудь, напримѣръ, хоть къ Лысевичу, и не разсказать ли ему, что происходитъ у нея теперь на душѣ? Ей хотѣлось говорить безъ-умолку, смѣяться, дурачиться, но темный уголъ за роялью угрюмо молчалъ и кругомъ, во всѣхъ комнатахъ верхняго этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романсы, но у нея былъ грубый, необработанный голосъ, и потому она только аккомпанировала, а пѣла чуть слышно, однимъ лишь дыханіемъ. Она пѣла шопотомъ романсъ за романсомъ, все больше о любви, разлукѣ, утраченныхъ надеждахъ, и воображала, какъ она протянетъ къ нему руки и скажетъ съ мольбой, со слезами: „Пименовъ, снимите съ меня эту тяжесть!“ И тогда, точно грѣхи ей простятся, станетъ на душѣ легко, радостно, наступитъ свободная и, быть-можетъ, счастливая жизнь. Въ тоскѣ ожиданія она склонилась къ клавишамъ и ей страстно захотѣлось, чтобы перемѣна въ жизни произошла сейчасъ же, немедленно, и было страшно отъ мысли, что прежняя жизнь будетъ продолжаться еще нѣкоторое время. Потомъ опять играла и пѣла чуть

слышно, и кругомъ было тихо. Изъ нижняго этажа уже не доносился гулъ: должно-быть, тамъ легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая скучная ночь.

Анна Акимовна прошлась по всѣмъ комнатамъ, полежала на диванѣ, прочла у себя въ кабинетѣ письма, полученныя вечеромъ. Было двѣнадцать писемъ поздравительныхъ и три анонимныхъ, безъ подписи. Въ одномъ какой-то простой рабочій ужаснымъ, едва разборчивымъ почеркомъ жаловался на то, что въ фабричной лавкѣ продаютъ рабочимъ горькое постное масло, отъ котораго пахнетъ керосиномъ; въ другомъ — кто-то доносилъ почтительно, что Назарычъ на послѣднихъ торгахъ, покупая желѣзо, взялъ отъ кого-то взятку въ тысячу рублей; въ третьемъ ее бранили за безчеловѣчность.

Праздничное возбужденіе уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна сѣла опять за рояль и тихо заиграла одинъ изъ новыхъ вальсовъ, потомъ вспомнила, какъ умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обѣдомъ. Поглядѣла она кругомъ на темныя окна и стѣны съ картинами, на слабый свѣтъ, который шелъ изъ залы, и вдругъ нечаянно заплакала и ей досадно стало, что она такъ одинока, что ей не съ кѣмъ поговорить, посовѣтоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать въ воображеніи Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двѣнадцать. Вошелъ Мишенька, уже не во фракѣ, а въ пиджакѣ, и молча зажегъ двѣ свѣчи; затѣмъ онъ вышелъ и черезъ минуту вер-

нулся съ подносомъ, на которомъ была чашка съ чаемъ.

— Что вы смѣетесь? — спросила она, замѣтивъ на его лицѣ улыбку.

— Я внизу былъ и слышалъ, какъ вы шутили насчетъ Пименова... — сказалъ онъ и прикрылъ рукой смѣющійся ротъ. — Посадить бы его давеча обѣдать съ Викторомъ Николаевичемъ и съ генераломъ, такъ онъ померъ бы со страху. — У Мишеньки задрожали плечи отъ смѣха. — Онъ и вилки, небось, держать не умѣетъ.

Смѣхъ лакея, его слова, пиджакъ и усики произвели на Анну Акимовну впечатлѣніе нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видѣть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обѣдающаго вмѣстѣ съ Лысевичемъ и Крылинымъ, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, безпомощной, и она почувствовала отвращеніе. И только теперь, въ первый разъ за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименовѣ и о бракѣ (съ простымъ рабочимъ — вздоръ, глупость и самодурство. Чтобъ убѣдить себя въ противномъ, преодолѣть отвращеніе, она хотѣла вспомнить слова, какія говорила за обѣдомъ, но уже не могла сообразить; стыдъ за свои мысли и поступки и страхъ, что она, быть-можетъ, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращеніе къ своему малодушію смутили ее чрезвычайно. Она взяла свѣчу и быстро, какъ будто ее гналъ кто-нибудь, сошла внизъ, разбудила тамъ Спиридоновну и стала увѣрять ее, что она пошутила, Потомъ пошла къ себѣ въ спальню. Рыжая Маша,

дремавшая въ креслѣ около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нея было утомленное, заспанное, и великолѣпные волосы сбились на одну сторону.

— Вечеромъ опять приходилъ чиновникъ Чаликовъ, — сказала она, зѣвая, — да я не посмѣла докладывать. Ужъ очень пьяный. Говоритъ, что опять завтра придетъ.

— Что ему нужно отъ меня? — разсердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой объ полъ. — Я не хочу его видѣть! Не хочу!

Она рѣшила, что у нея въ жизни никого уже больше не осталось, кромѣ этого Чаликова, что онъ уже не перестанетъ преслѣдовать ее и напоминать ей каждый день, какъ неинтересна и нелѣпа ея жизнь. Вѣдь, она на то только и способна, чтобы помогать бѣднымъ. О, какъ это глупо!

Она легла, не раздѣваясь, и зарыдала отъ стыда и скуки. Досаднѣе и глупѣе всего казалось ей то, что сегодняшнія мечты насчетъ Пименова были честны, возвышенны, благородны, но въ то же время она чувствовала, что Лысевичъ и даже Крылинъ для нея были ближе, чѣмъ Пименовъ и всѣ рабочіе, взятые вмѣстѣ. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картинѣ, то все дурное и пошлое, какъ, напримѣръ, обѣдъ, слова адвоката, игра въ короли, были бы правдой, мечты же и разговоры о Пименовѣ выдѣлялись бы изъ цѣлаго, какъ фальшивое мѣсто, какъ натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастьи, что все уже для нея погибло и вернуться къ той жизни,

когда она спала съ матерью подъ однимъ одѣяломъ, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно

Рыжая Маша стояла на колѣняхъ передъ постелью и смотрѣла на нее печально, съ недоумѣніемъ, потомъ и сама заплакала и припала лицомъ къ ея рукѣ; и безъ словъ было понятно, отчего ей такъ горько.

— Дуры мы съ тобой, — говорила Анна Акимовна, плача и смѣясь. — Дуры мы! Ахъ, какія мы дуры!

Попрыгунья.

I.

На свадьбѣ у Ольги Ивановны были всѣ ея друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, въ немъ что-то есть? — говорила она своимъ друзьямъ, кивая на мужа и какъ бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновеннаго и ничѣмъ не замѣчательнаго человѣка.

Ея мужъ, Осипъ Степанычъ Дымовъ, былъ врачомъ и имѣлъ чинъ титулярнаго совѣтника. Служилъ онъ въ двухъ больницахъ: въ одной сверхштатнымъ ординаторомъ, а въ другой — прозекторомъ. Ежедневно отъ 9 часовъ утра до полудня онъ принималъ больныхъ и занимался у себя въ палатѣ, а послѣ полудня ѣхалъ на конкѣ въ другую больницу, гдѣ вскрывалъ умершихъ больныхъ. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсотъ въ годъ. Вотъ и все. Что еще можно про него сказать? А между тѣмъ Ольга Ивановна и ея друзья и добрые знакомые были не совсѣмъ обыкновенные люди. Каждый изъ нихъ былъ чѣмъ-нибудь замѣчателенъ и немножко извѣстенъ,

имѣлъ уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не былъ еще знаменитъ, но зато подавалъ блестящія надежды. Артистъ изъ драматическаго театра, большой, давно признанный талантъ, изящный, умный и скромный человѣкъ и отличный чтецъ, учившій Ольгу Ивановну читать; пѣвецъ изъ оперы, добродушный толстякъ, со вздохомъ увѣрявшій Ольгу Ивановну, что она губитъ себя: если бы она не лѣнилась и взяла себя въ руки, то изъ нея вышла бы замѣчательная пѣвица; затѣмъ, нѣсколько художниковъ и во главѣ ихъ жанристъ, анималистъ и пейзажистъ Рябовскій, очень красивый бѣлокурый молодой человѣкъ, лѣтъ 25, имѣвшій успѣхъ на выставкахъ и продавшій свою послѣднюю картину за пятьсотъ рублей; онъ поправлялъ Ольгѣ Ивановнѣ ея этюды и говорилъ, что изъ нея, быть-можетъ, выйдетъ толкъ; затѣмъ віолончелистъ, у котораго инструментъ плакалъ, и который откровенно сознавался, что изъ всѣхъ знакомыхъ ему женщинъ умѣетъ аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затѣмъ литераторъ, молодой, но уже извѣстный, писавшій повѣсти, пьесы и разсказы. Еще кто? Ну, еще Василій Васильичъ, баринъ, помѣщикъ, дилетантъ-иллюстраторъ и виньетистъ, сильно чувствовавшій старый русскій стиль, былину и эпосъ; на бумагѣ, на фарфорѣ и на закопченныхъ тарелкахъ онъ производилъ буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою, компаніи, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существованіи какихъ-то докторовъ только во время болѣзни, и для которой имя Дымовъ звуча-

ло такъ же безразлично, какъ Сидоровъ или Тарасовъ, — среди этой компаніи Дымовъ казался чужимъ, лишнимъ и маленькимъ, хотя былъ высокъ ростомъ и широкъ въ плечахъ. Казалось, что на немъ чужой фракъ и что у него приказчицкая бородка. Впрочемъ, если бы онъ былъ писателемъ или художникомъ, то сказали бы, что своей бородкой онъ напоминаетъ Зола.

Артистъ говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что, со своими льняными волосами и въ вѣнчальномъ нарядѣ, она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бываетъ покрыто нѣжными бѣлыми цвѣтами.

— Нѣтъ, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Какъ это могло вдругъ случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вамъ сказать, что отецъ служилъ вмѣстѣ съ Дымовымъ въ одной больницѣ. Когда бѣдняжка-отецъ заболѣлъ, то Дымовъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ дежурилъ около его постели. Столько самопожертвованія! Слушайте, Рябовскій... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвованія, искренняго участія! Я тоже не спала ночи и сидѣла около отца, и вдругъ — здравствуйте, побѣдила добра молодца! Мой Дымовъ врѣзался по самыя уши. Право, судьба бываетъ такъ причудлива. Ну, послѣ смерти отца онъ иногда бывалъ у меня, встрѣчался на улицѣ и въ одинъ прекрасный вечеръ вдругъ — бацъ! сдѣлалъ предложеніе... какъ снѣгъ на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вотъ, какъ видите, стала супругой. Не правда ли, въ немъ

есть что-то сильное, могучее, медвѣжье? Теперь его лицо обращено къ намъ въ три четверти, плохо освѣщено, но когда онъ обернется, вы посмотрите на его лобъ. Рябовскій, что вы скажете объ этомъ лбѣ? Дымовъ, мы о тебѣ говоримъ! — крикнула она мужу. — Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вотъ такъ. Будьте друзьями.

Дымовъ, добродушно и наивно улыбаясь, протянулъ Рябовскому руку и сказалъ:

— Очень радъ. Со мной кончилъ курсъ тоже нѣкто Рябовскій. Это не родственникъ вашъ?

II.

Ольгѣ Ивановнѣ было 22 года, Дымову 31. Зажили они послѣ свадьбы превосходно. Ольга Ивановна въ гостиной увѣшала всѣ стѣны сплошь своими и чужими этюдами въ рамахъ и безъ рамъ, а около рояли и мебели устроила красивую тѣсноту изъ китайскихъ зонтовъ, мольбертовъ, разноцвѣтныхъ тряпочекъ, кинжаловъ, бюстиковъ, фотографій... Въ столовой она оклеила стѣны лубочными картинами, повѣсила лапти и серпы, поставила въ углу косу и грабли, и получилась столовая въ русскомъ вкусѣ. Въ спальнѣ она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолокъ и стѣны темнымъ сукномъ, повѣсила надъ кроватями венеціанскій фонарь, а у дверей поставила фигуру съ аллебардой. И всѣ находили, что у молодыхъ супруговъ очень миленькій уголокъ.

Ежедневно, вставши съ постели часовъ въ один-

надцать, Ольга Ивановна играла на рояли, или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потомъ, въ первомъ часу, она ѣхала къ своей портнихѣ. Такъ какъ у нея и у Дымова денегъ было очень не много, въ обрѣзъ, то, чтобы часто появляться въ новыхъ платьяхъ и поражать своими нарядами, ей и ея портнихѣ приходилось пускаться на хитрости. Очень часто изъ стараго перекрашеннаго платья, изъ ничего не стоящихъ кусочковъ тюля, кружевъ, плюша и шелка выходили просто чудеса, нѣчто обворожительное, не платье, а мечта. Отъ портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ѣхала къ какой-нибудь знакомой актрисѣ, чтобы узнать театральныя новости и кстати похлопотать насчетъ билета къ первому представленію новой пьесы или къ бенефису. Отъ актрисы нужно было ѣхать въ мастерскую художника или на картинную выставку, потомъ къ кому-нибудь изъ знаменитостей — приглашать къ себѣ, или отдать визитъ, или просто поболтать. И вездѣ ее встрѣчали весело и дружелюбно и увѣряли ее, что она хорошая, милая, рѣдкая... Тѣ, которыхъ она называла знаменитыми и великими, принимали ее, какъ свою, какъ ровню, и пророчили ей въ одинъ голосъ, что при ея талантахъ, вкусѣ и умѣ, если она не разбросается, выйдетъ большой толкъ. Она пѣла, играла на рояли, писала красками, лѣпила, участвовала въ любительскихъ спектакляхъ, но все это не какъ-нибудь, а съ талантомъ; дѣлала ли она фонарики для иллюминаціи, рядилась ли, завязывала ли кому галстукъ — все у нея выходило необыкновенно художественно, граціозно и мило. Но ни въ чемъ

ея талантливость не сказывалась такъ ярко, какъ въ ея умѣньи быстро знакомиться и коротко сходиться съ знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себѣ говорить, какъ она ужъ знакомилась съ нимъ, въ тотъ же день дружилась и приглашала къ себѣ Всякое новое знакомство было для нея сущимъ праздникомъ. Она боготворила знаменитыхъ людей, гордилась ими и каждую ночь видѣла ихъ во снѣ. Она жаждала ихъ и никакъ не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смѣну имъ новые, но и къ этимъ она скоро привыкала или разочаровывалась въ нихъ и начинала жадно искать новыхъ и новыхъ великихъ людей, находила и опять искала. Для чего?

Въ пятомъ часу она обѣдала дома съ мужемъ. Его простота, здравый смыслъ и добродушіе приводили ее въ умиленіе и восторгъ. Она то и дѣло вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцѣлуями.

— Ты, Дымовъ, умный, благородный человѣкъ,— говорила она; — но у тебя есть одинъ очень важный недостатокъ. Ты совсѣмъ не интересуешься искусствомъ. Ты отрицаешь и музыку и живопись.

— Я не понимаю ихъ, — говорилъ онъ кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мнѣ некогда было интересоваться искусствами.

— Но вѣдь это ужасно, Дымовъ!

— Почему же? твои знакомые не знаютъ естественныхъ наукъ и медицины, однакоже, ты не ставишь имъ этого въ упрекъ. У каждаго свое. Я не

понимаю пейзажей и оперъ, но думаю такъ: если одни умные люди посвящаютъ имъ всю свою жизнь, а другіе умные люди платятъ за нихъ громадныя деньги, то, значитъ, они нужны. Я не понимаю, но не понимать, не значитъ отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

Послѣ обѣда Ольга Ивановна ѣхала къ знакомымъ, потомъ въ театръ или на концертъ и возвращалась домой послѣ полуночи. Такъ каждый день.

По средамъ у нея бывали вечеринки. На этихъ вечеринкахъ хозяйка и гости не играли въ карты и не танцовали, а развлекали себя разными художествами. Актеръ изъ драматическаго театра читалъ, пѣвецъ пѣлъ, художники рисовали въ альбомы, которыхъ у Ольги Ивановны было множество, віолончелистъ игралъ, и сама хозяйка тоже рисовала, лѣпила, пѣла и аккомпанировала. Въ промежуткахъ между чтеніемъ, музыкой и пѣніемъ говорили и спорили о литературѣ, театрѣ и живописи. Дамъ не было, потому что Ольга Ивановна всѣхъ дамъ, кромѣ актрисъ и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась безъ того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждомъ звонкѣ и не говорила съ побѣднымъ выраженіемъ лица: „Это онъ!“, разумѣя подъ словомъ „онъ“ какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова въ гостиной не было, и никто не вспоминалъ объ его существованіи. Но ровно въ половинѣ двѣнадцатаго отворялась дверь, ведущая въ столовую, показывался Дымовъ со своею добродушною кроткою улыбкой, и говорилъ, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Всѣ шли въ столовую и всякій разъ видѣли на столѣ одно и то же: блюдо съ устрицами, кусокъ ветчины или телятины, сардины, сыръ, икру, грибы, водку и два графина съ виномъ.

— Милый мой метръ-д'отель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками отъ восторга. — Ты просто очарователенъ! Господа, посмотрите на его лобъ! Дымовъ, повернись въ профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальскаго тигра, а выраженіе доброе и милое, какъ у оленя. У, милый!

Гости ѣли и, глядя на Дымова, думали: „Въ самомъ дѣлѣ, славный малый", но скоро забывали о немъ и продолжали говорить о театрѣ, музыкѣ и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь ихъ текла какъ по маслу. Впрочемъ, третья недѣля ихъ медоваго мѣсяца была проведена не совсѣмъ счастливо, даже печально. Дымовъ заразился въ больницѣ рожей, пролежалъ въ постели шесть дней и долженъ былъ остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидѣла около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надѣла на его стриженую голову бѣленькій платокъ и стала писать съ него бедуина. И обоимъ было весело. Дня черезъ три послѣ того, какъ онъ, выздоровѣвши, сталъ опять ходить въ больницы, съ нимъ произошло новое недоразумѣніе.

— Мнѣ не везетъ, мама! — сказалъ онъ однажды за обѣдомъ. — Сегодня у меня было четыре вскрытія, и я себѣ сразу два пальца порѣзалъ. И только дома я это замѣтилъ.

Ольга Ивановна испугалась. Онъ улыбнулся и

сказалъ, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытій дѣлать себѣ порѣзы на рукахъ.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь разсѣяннымъ.

Ольга Ивановна съ тревогой ожидала труднаго зараженія и по ночамъ молилась Богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь безъ печалей и тревогъ. Настоящее было прекрасно, а на смѣну ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обѣщавшая тысячу радостей. Счастью не будетъ конца! Въ апрѣлѣ, въ маѣ и въ іюнѣ дача далеко за городомъ, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потомъ, съ іюля до самой осени, поѣздка художниковъ на Волгу и въ этой поѣздкѣ, какъ непремѣнный членъ сосьетé, будетъ принимать участіе и Ольга Ивановна. Она уже сшила себѣ два дорожныхъ костюма изъ холстинки, купила на дорогу красокъ, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день къ ней приходилъ Рябовскій, чтобы посмотрѣть, какіе она сдѣлала успѣхи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, онъ засовывалъ руки глубоко въ карманы, крѣпко сжималъ губы, сопѣлъ и говорилъ:

— Такъ-съ... Это облако у васъ кричитъ: оно освѣщено не по-вечернему. Передній планъ какъ-то сжеванъ и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у васъ подавилась чѣмъ-то и жалобно пищитъ... надо бы уголъ этотъ потемнѣе взять. А въ общемъ недурственно... Хвалю.

И чѣмъ онъ непонятнѣе говорилъ, тѣмъ легче Ольга Ивановна его понимала.

III.

На второй день Троицы послѣ обѣда Дымовъ купилъ закусокъ и конфетъ и поѣхалъ къ женѣ на дачу. Онъ не видѣлся съ нею уже двѣ недѣли и сильно соскучился. Сидя въ вагонѣ и потомъ отыскивая въ большой рощѣ свою дачу, онъ все время чувствовалъ голодъ и утомленіе и мечталъ о томъ, какъ онъ на свободѣ поужинаетъ вмѣстѣ съ женой и потомъ завалится спать. И ему весело было смотрѣть на свой свертокъ, въ которомъ были завернуты икра, сыръ и бѣлорыбица.

Когда онъ отыскалъ свою дачу и узналъ ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нѣтъ дома и что, должно-быть, онѣ скоро придутъ. На дачѣ, очень неприглядной на видъ, съ низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и съ неровными щелистыми полами, было только три комнаты. Въ одной стояла кровать, въ другой на стульяхъ и окнахъ валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужскія пальто и шляпы, а въ третьей Дымовъ засталъ трехъ какихъ-то незнакомыхъ мужчинъ. Двое были брюнеты съ бородками, а третій совсѣмъ бритый и толстый, повидимому, — актеръ. На столѣ кипѣлъ самоваръ.

— Что вамъ угодно? — спросилъ актеръ басомъ, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вамъ Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчасъ придетъ.

Дымовъ сѣлъ и сталъ дожидаться. Одинъ изъ

брюнетовъ, сонно и вяло поглядывая на него, налилъ себѣ чаю и спросилъ:

— Можетъ, чаю хотите?

Дымову хотѣлось и пить и ѣсть, но, чтобы не портить себѣ аппетита, онъ отказался отъ чая. Скоро послышались шаги и знакомый смѣхъ; хлопнула дверь, и въ комнату вбѣжала Ольга Ивановна въ широкополой шляпѣ и съ ящикомъ въ рукѣ, а вслѣдъ за нею съ большимъ зонтомъ и со складнымъ стуломъ вошелъ веселый, краснощекій Рябовскій.

— Дымовъ!—вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула отъ радости. — Дымовъ! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обѣ руки. — Это ты! Отчего ты такъ долго не пріѣзжалъ? Отчего? Отчего?

— Когда же мнѣ, мама? Я всегда занятъ, а когда бываю свободенъ, то все случается такъ, кто расписаніе поѣздовъ не подходитъ.

— Но какъ я рада тебя видѣть! Ты мнѣ всю, всю ночь снился, и я боялась, какъ бы ты не заболѣлъ. Ахъ, если бъ ты зналъ, какъ ты милъ, какъ ты кстати пріѣхалъ. Ты будешь моимъ спасителемъ. Ты одинъ только можешь спасти меня! Завтра будетъ здѣсь преоригинальная свадьба,—продолжала она, смѣясь и завязывая мужу галстукъ. — Женится молодой телеграфистъ на станціи, нѣкто Чикельдѣевъ. Красивый молодой человѣкъ, ну, не глупый и есть въ лицѣ, знаешь, что-то сильное, медвѣжье... Можно съ него молодого варяга писать. Мы, всѣ дачники, принимаемъ въ немъ участіе и дали ему честное слово быть у него на свадьбѣ... Человѣкъ небогатый, одинокій, робкій и, ко-

нечно, было бы грѣшно отказать ему въ участіи. Представь, послѣ обѣдни вѣнчанье, потомъ изъ церкви всѣ пѣшкомъ до квартиры невѣсты... понимаешь, роща, пѣніе птицъ, солнечныя пятна на травѣ и всѣ мы разноцвѣтными пятнами на яркозеленомъ фонѣ — преоригинально, во вкусѣ французскихъ экспрессіонистовъ. Но, Дымовъ, въ чемъ я пойду въ церковь? — сказала Ольга Ивановна и сдѣлала плачущее лицо. — У меня здѣсь ничего нѣтъ, буквально ничего! Ни платья, ни цвѣтовъ, ни перчатокъ... Ты долженъ меня спасти. Если пріѣхалъ, то, значитъ, сама судьба велитъ тебѣ спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поѣзжай домой и возьми тамъ въ гардеробѣ мое розовое платье. Ты его помнишь, оно виситъ первое... Потомъ въ кладовой съ правой стороны на полу ты увидишь двѣ картонки. Какъ откроешь верхнюю, такъ тамъ все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а подъ ними цвѣты. Цвѣты всѣ вынь осторожно, не помни, потомъ я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказалъ Дымовъ. — Я завтра поѣду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрѣла на него съ удивленіемъ. — Когда же ты успѣешь завтра? Завтра отходитъ первый поѣздъ въ 9 часовъ, а вѣнчаніе въ 11. Нѣтъ, голубчикъ, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебѣ нельзя будетъ пріѣхать, то пришли съ разсыльнымъ. Ну, иди же... Сейчасъ долженъ прійти пассажирскій поѣздъ. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ахъ, какъ мнѣ жаль тебя отпускать, — сказа-

ла Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нея на глазахъ. — И зачѣмъ я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымовъ быстро выпилъ стаканъ чаю, взялъ баранку и, кротко улыбаясь, пошелъ на станцію. А икру, сыръ и бѣлорыбицу съѣли два брюнета и толстый актеръ.

IV.

Въ тихую лунную іюльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубѣ волжскаго парохода и смотрѣла то на воду, то на красивые берега. Рядомъ съ нею. стоялъ Рябовскій и говорилъ ей, что черныя тѣни на водѣ — не тѣни, а сонъ, что въ виду этой колдовской воды съ фантастическимъ блескомъ, бездоннаго неба и грустныхъ, задумчивыхъ береговъ, говорящихъ о суетѣ нашей жизни и о существованіи чего-то высшаго, вѣчнаго, блаженнаго, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминаніемъ. Прошедшее прошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная въ жизни ночь скоро кончится, сольется съ вѣчностью — зачѣмъ же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то къ голосу Рябовскаго, то къ тишинѣ ночи и думала о томъ, что она безсмертна и никогда не умретъ. Бирюзовый цвѣтъ воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черныя тѣни и безотчетная радость, наполнявшая ея душу, говорили ей, что изъ нея выйдетъ великая художница, и что гдѣ-то тамъ за далью, за лунной ночью, въ безконечномъ

пространствѣ ожидаютъ ее успѣхъ, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрѣла вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она въ бѣломъ платьѣ и цвѣты, которые сыпались на нее со всѣхъ сторонъ. Думала она также о томъ, что рядомъ съ нею, облокотившись о бортъ, стоитъ настоящій великій человѣкъ, геній, Божій избранникъ... Все, что онъ создалъ до сихъ поръ, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создастъ онъ со временемъ, когда съ возмужалостью окрѣпнетъ его рѣдкій талантъ, будетъ поразительно, неизмѣримо высоко, и это видно по его лицу, по манерѣ выражаться и по его отношенію къ природѣ. О тѣняхъ, вечернихъ тонахъ, о лунномъ блескѣ онъ говоритъ какъ-то особенно, своимъ языкомъ, такъ что невольно чувствуется обаяніе его власти надъ природой. Самъ онъ очень красивъ, оригиналенъ, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейскаго, похожа на жизнь птицы.

— Становится свѣжо,— сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовскій окуталъ ее въ свой плащъ и сказалъ печально:

— Я чувствую себя въ вашей власти. Я рабъ. Зачѣмъ вы сегодня такъ обворожительны?

Онъ все время глядѣлъ на нее не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю васъ... — шепталъ онъ, дыша ей на щеку. — Скажите мнѣ одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормоталъ

онъ въ сильномъ волненіи. — Любите меня, любите...

— Не говорите такъ,— сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.— Это страшно. А Дымовъ?

— Что Дымовъ? Почему Дымовъ? Какое мнѣ дѣло до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторгъ, а никакого нѣтъ Дымова... Ахъ, я ничего не знаю... Не нужно мнѣ прошлаго, мнѣ дайте одно мгновеніе... одинъ мигъ!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотѣла думать о мужѣ, но все ея прошлое, со свадьбой, съ Дымовымъ и съ вечеринками, казалось ей маленькимъ, ничтожнымъ, тусклымъ, ненужнымъ и далекимъ-далекимъ... Въ самомъ дѣлѣ: что̀ Дымовъ? почему Дымовъ? какое ей дѣло до Дымова? Да существуетъ ли онъ въ природѣ и не сонъ ли онъ только?

„Для него, простого и обыкновеннаго человѣка, достаточно и того счастья, которое онъ уже получилъ,— думала она, закрывая лицо руками. – Пусть осуждаютъ *тамъ*, проклинаютъ, а я вотъ на зло всѣмъ возьму и погибну, возьму вотъ и погибну... Надо испытать все въ жизни. Боже, какъ жутко и какъ хорошо!“

— Ну что? Что? — бормоталъ художникъ, обнимая ее и жадно цѣлуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его отъ себя. Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь!— прошептала она, глядя ему въ глаза, блестящіе отъ слезъ, потомъ быстро оглянулась, обняла его и крѣпко поцѣловала въ губы.

— Къ Кинешмѣ подходимъ!— сказалъ кто-то на другой сторонѣ палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходилъ мимо человѣкъ изъ буфета.

— Послушайте,— сказала ему Ольга Ивановна, смѣясь и плача отъ счастья,—принесите намъ вина.

Художникъ, блѣдный отъ волненія, сѣлъ на скамью, посмотрѣлъ на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потомъ закрылъ глаза и сказалъ, томно улыбаясь:

— Я усталъ.

И прислонился головою къ борту.

V.

Второго сентября день былъ теплый и тихій, но пасмурный. Рано утромъ на Волгѣ бродилъ легкій туманъ, а послѣ девяти часовъ сталъ накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаемъ Рябовскій говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что живопись—самое неблагодарное и самое скучное искусство, что онъ не художникъ, что одни только дураки думаютъ, что у него есть талантъ, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, схватилъ ножъ и поцарапалъ имъ свой самый лучшій этюдъ. Послѣ чая онъ, мрачный, сидѣлъ у окна и смотрѣлъ на Волгу. А Волга уже была безъ блеска, тусклая, матовая, холодная на видъ. Все, все напоминало о приближеніи тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегахъ, алмазныя отраженія лучей, прозрачную синюю даль и

все щегольское и парадное природа сняла теперь съ Волги и уложила въ сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: „Голая! голая!“ Рябовскій слушалъ ихъ карканье и думалъ о томъ, что онъ уже выдохся и потерялъ талантъ, что все на этомъ свѣтѣ условно, относительно и глупо, и что не слѣдовало бы связывать себя съ этой женщиной... Однимъ словомъ, онъ былъ не въ духѣ и хандрилъ.

Ольга Ивановна сидѣла за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то въ гостиной, то въ спальнѣ, то въ кабинетѣ мужа; воображеніе уносило ее въ театръ, къ портнихѣ и къ знаменитымъ друзьямъ. Что-то они подѣлываютъ теперь? Вспоминаютъ ли о ней? Сезонъ уже начался, и пора бы подумать о вечеринкахъ. А Дымовъ? Милый Дымовъ! Какъ кротко и дѣтски-жалобно онъ проситъ ее въ своихъ письмахъ поскорѣе ѣхать домой. Каждый мѣсяцъ онъ высылалъ ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникамъ сто рублей, то онъ прислалъ ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человѣкъ! Путешествіе утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотѣлось поскорѣе уйти отъ этихъ мужиковъ, отъ запаха рѣчной сырости и сбросить съ себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя въ крестьянскихъ избахъ и кочуя изъ села въ село. Если бы Рябовскій не далъ честнаго слова художникамъ, что онъ проживетъ съ ними здѣсь до 20 сентября, то можно было бы уѣхать сегодня же. И какъ бы это было хорошо!

— Боже мой,— простоналъ Рябовскій, — когда же, наконецъ, будетъ солнце? Не могу же я солнечный пейзажъ продолжать безъ солнца!..

— А у тебя есть этюдъ при облачномъ небѣ,— сказала Ольга Ивановна, выходя изъ-за перегородки.— Помнишь, на правомъ планѣ лѣсъ, а на лѣвомъ стадо коровъ и гуси. Теперь ты могъ бы его кончить.

— Э! — поморщился художникъ. — Кончить! Неуже ли вы думаете, что самъ я такъ глупъ, что не знаю, что мнѣ нужно дѣлать

— Какъ ты ко мнѣ перемѣнился!— вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла къ печкѣ и заплакала.

— Да, недоставало только слезъ. Перестаньте! У меня тысячи причинъ плакать, однакоже, я не плачу.

— Тысяча причинъ!— всхлипнула Ольга Ивановна.— Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да!— сказала она и зарыдала.— Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не замѣтили, хотя этого скрыть нельзя, и имъ все давно уже извѣстно.

— Ольга, я объ одномъ прошу васъ,— сказалъ художникъ умоляюще и приложилъ руку къ сердцу,— объ одномъ: не мучьте меня! Больше мнѣ отъ васъ ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно!— процѣдилъ сквозь зубы ху-

дожникъ и вскочилъ.— Кончится тѣмъ, что я брошусь въ Волгу или сойду съ ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня!— крикнула Ольга Ивановна.— Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крышѣ избы зашуршалъ дождь. Рябовскій схватилъ себя за голову и прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ съ рѣшительнымъ лицомъ, какъ будто желая что-то кому-то доказать, надѣлъ фуражку, перекинулъ черезъ плечо ружье и вышелъ изъ избы.

По уходѣ его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о томъ, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшійся Рябовскій засталъ ее мертвою, потомъ же она унеслась мыслями въ гостиную, въ кабинетъ мужа и вообразила, какъ она сидитъ неподвижно рядомъ съ Дымовымъ и наслаждается физическимъ покоемъ и чистотой, и какъ вечеромъ сидитъ въ театрѣ и слушаетъ Мазини въ „Cavaleria rusticana“. И тоска по цивилизаціи, по городскому шуму и извѣстнымъ людямъ защемила ея сердце. Въ избу вошла баба и стала не спѣша топить печь, чтобы готовить обѣдъ. Запахло гарью, и воздухъ посинѣлъ отъ дыма. Приходили художники въ высокихъ грязныхъ сапогахъ и съ мокрыми отъ дождя лицами, разсматривали этюды и говорили себѣ въ утѣшеніе, что Волга даже и въ дурную погоду имѣетъ свою прелесть. А дешевые часы на стѣнкѣ: тикъ-тикъ-тикъ... Озябшія мухи столпились въ переднемъ углу около образовъ и жужжатъ, и слышно, какъ подъ лавками въ толстымъ папкахъ возятся прусаки...

Рябовскій вернулся домой, когда заходило солнце. Онъ бросилъ на столъ фуражку и, блѣдный, замученный, въ грязныхъ сапогахъ, опустился на лавку и закрылъ глаза.

— Я усталъ... — сказалъ онъ и задвигалъ бровями, силясь поднять вѣки.

Чтобы приласкаться къ нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла къ нему, молча поцѣловала и провела гребенкой по его бѣлокурымъ волосамъ. Ей захотѣлось причесать его.

— Что такое?—спросилъ онъ, вздрогнувъ, точно къ нему прикоснулись чѣмъ-то холоднымъ, и открылъ глаза.—Что такое? Оставьте меня въ покоѣ, прошу васъ.

Онъ отстранилъ ее руками и отошелъ, и ей показалось, что лицо его выражало отвращеніе и досаду. Въ это время баба осторожно несла ему въ обѣихъ рукахъ тарелку со щами, и Ольга Ивановна видѣла, какъ она обмочила во щахъ свои большіе пальцы. И грязная баба съ перетянутымъ животомъ, и щи, которыя сталъ жадно ѣсть Рябовскій, и изба, и вся эта жизнь, которую въ началѣ она такъ любила за простоту и художественный безпорядокъ, показались ей теперь ужасными. Она вдругъ почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Намъ нужно разстаться на нѣкоторое время, а то отъ скуки мы можемъ серьезно поссориться. Мнѣ это надоѣло. Сегодня я уѣду.

— На чемъ? На палочкѣ верхомъ?

— Сегодня четвергъ, значитъ, въ половинѣ десятаго придетъ пароходъ.

— А? Да, да... Ну что жъ, поѣзжай... — сказалъ мягко Рябовскій, утираясь вмѣсто салфетки полотенцемъ.—Тебѣ здѣсь скучно и дѣлать нечего, и надо быть большимъ эгоистомъ, чтобы удерживать тебя. Поѣзжай, а послѣ двадцатаго увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нея разгорѣлись отъ удовольствія. Неужели это правда,—спрашивала она себя,—что скоро она будетъ писать въ гостиной, а спать въ спальнѣ и обѣдать со скатертью? У нея отлегло отъ сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебѣ, Рябуша,— говорила она.—Что останется, привезешь... Смотри же, безъ меня тутъ не лѣнись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

Въ десять часовъ Рябовскій, на прощанье, поцѣловалъ ее для того, какъ она думала, чтобы не цѣловать на пароходѣ при художникахъ, и проводилъ на пристань. Подошелъ скоро пароходъ и увезъ ее.

Пріѣхала она домой черезъ двое съ половиной сутокъ. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша отъ волненія, она прошла въ гостиную, а оттуда въ столовую. Дымовъ безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ сидѣлъ за столомъ и точилъ ножъ о вилку; передъ нимъ на тарелкѣ лежалъ рябчикъ. Когда Ольга Ивановна входила въ квартиру, она была убѣждена, что необходимо скрыть все отъ мужа и что на это хватитъ у нея умѣнья и силы, но теперь, когда она увидѣла широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящіе радостные глаза, она почувствовала, что скрывать отъ этого

человѣка такъ же подло, отвратительно и такъ же невозможно и не подъ силу ей, какъ оклеветать, украсть или убить, и она въ одно мгновеніе рѣшила разсказать ему все, что было. Давши ему поцѣловать себя и обнять, она опустилась передъ нимъ на колѣни и закрыла лицо.

— Что? Что, мама?—спросилъ онъ нѣжно.—Соскучилась?

Она подняла лицо, красное отъ стыда, и поглядѣла на него виновато и умоляюще, но страхъ и стыдъ помѣшали ей говорить правду.

— Ничего...—сказала она.—Это я такъ...

— Сядемъ,—сказалъ онъ, поднимая ее и усаживая за столъ. — Вотъ такъ... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бѣдняжка.

Она жадно вдыхала въ себя родной воздухъ и ѣла рябчика, а онъ съ умиленіемъ глядѣлъ на нее и радостно смѣялся.

VI.

Повидимому, съ средины зимы Дымовъ сталъ догадываться, что его обманываютъ. Онъ, какъ будто у него была совѣсть нечиста, не могъ уже смотрѣть женѣ прямо въ глаза, не улыбался радостно при встрѣчѣ съ нею и, чтобы меньше оставаться съ нею наединѣ, часто приводилъ къ себѣ обѣдать своего товарища Коростелева, маленькаго стриженаго человѣчка съ помятымъ лицомъ, который, когда разговаривалъ съ Ольгой Ивановной, то отъ смущенія разстегивалъ всѣ пуговицы своего пиджака

и опять ихъ застегивалъ и потомъ начиналъ правой рукой щипать свой лѣвый усъ. За обѣдомъ оба доктора говорили о томъ, что при высокомъ состояніи діафрагмы иногда бываютъ перебои сердца, или что множественные невриты въ послѣднее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымовъ, вскрывши трупъ съ діагностикой „злокачественная анемія“, нашелъ ракъ поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинскій разговоръ только для того, чтобы дать Ольгѣ Ивановнѣ возможность молчать, т. е. не лгать. Послѣ обѣда Коростелевъ садился за рояль, а Дымовъ вздыхалъ и говорилъ ему:

— Эхъ, братъ! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Поднявъ плечи и широко разставивъ пальцы, Коростелевъ бралъ нѣсколько аккордовъ и начиналъ пѣть теноромъ: „Укажи мнѣ такую обитель, гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ“, а Дымовъ еще разъ вздыхалъ, подпиралъ голову кулакомъ и задумывался.

Въ послѣднее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась въ самомъ дурномъ настроеніи и съ мыслью, что она Рябовскаго уже не любитъ и что, слава Богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовскій отнялъ у нея мужа и что теперь она осталась безъ мужа и безъ Рябовскаго; потомъ она вспоминала разговоры своихъ знакомыхъ о томъ, что Рябовскій готовитъ къ выставкѣ нѣчто поразительное, смѣсь пейзажа съ жанромъ, во вкусѣ Полѣнова, отчего всѣ, кто бываетъ въ его

мастерской, приходятъ въ восторгъ; но вѣдь это, думала она, онъ создалъ подъ ея вліяніемъ и вообще, благодаря ея вліянію, онъ сильно измѣнился къ лучшему. Вліяніе ея такъ благотворно и существенно, что, если она оставитъ его, то онъ, пожалуй, можетъ погибнуть. И вспомнила она также, что въ послѣдній разъ онъ приходилъ къ ней въ какомъ-то сѣромъ сюртучкѣ съ искрами и въ новомъ галстукѣ и спрашивалъ томно: „Я красивъ?“ И въ самомъ дѣлѣ, онъ, изящный, со своими длинными кудрями и съ голубыми глазами, былъ очень красивъ (или, быть-можетъ, такъ показалось) и былъ ласковъ съ ней.

Вспомнивъ про многое и сообразивъ, Ольга Ивановна одѣвалась и въ сильномъ волненіи ѣхала въ мастерскую къ Рябовскому. Она заставала его веселымъ и восхищеннымъ своею, въ самомъ дѣлѣ, великолѣпною картиной; онъ прыгалъ, дурачился и на серьезные вопросы отвѣчалъ шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовскаго къ картинѣ и ненавидѣла ее, но изъ вѣжливости простаивала передъ картиной молча пять минутъ и, вздохнувъ, какъ вздыхаютъ передъ святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писалъ еще ничего подобнаго. Знаешь, даже страшно.

Потомъ она начала умолять его, чтобы онъ любилъ ее, не бросалъ, чтобы пожалѣлъ ее бѣдную и несчастную. Она плакала, цѣловала ему руки, требовала, чтобы онъ клялся ей въ любви, доказывала ему, что безъ ея хорошаго вліянія онъ собьется съ пути и погибнетъ. И, испортивъ ему хорошее настроеніе духа и чувствуя себя унижен-

ной, она уѣзжала къ портнихѣ или къ знакомой актрисѣ похлопотать насчетъ билета.

Если она не заставала его въ мастерской, то оставляла ему письмо, въ которомъ клялась, что, если онъ сегодня не придетъ къ ней, то она непремѣнно отравится. Онъ трусилъ, приходилъ къ ней и оставался обѣдать. Не стѣсняясь присутствіемъ мужа, онъ говорилъ ей дерзости, она отвѣчала ему тѣмъ же. Оба чувствовали, что они связываютъ другъ друга, что они деспоты и враги, и злились, и отъ злости не замѣчали, что оба они неприличны и что даже стриженый Коростелевъ понимаетъ все. Послѣ обѣда Рябовскій спѣшилъ проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна въ передней, глядя на него съ ненавистью.

Онъ, морщясь и щуря глаза, называлъ какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это онъ смѣется надъ ея ревностью и хочетъ досадить ей. Она шла къ себѣ въ спальню и ложилась въ постель; отъ ревности, досады, чувства униженія и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымовъ оставлялъ Коростелева въ гостиной, шелъ въ спальню и, сконфуженный, растерянный, говорилъ тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачѣмъ? Надо молчать объ этомъ... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, какъ усмирить въ себѣ тяжелую ревность, отъ которой даже въ вискахъ ломило, и думая, что еще можно поправить дѣло, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летѣла къ знакомой дамѣ. Не

заставъ у нея Рябовскаго, она ѣхала къ другой, потомъ къ третьей... Сначала ей было стыдно такъ ѣздить, но потомъ она привыкла, и случалось, что въ одинъ вечеръ она объѣзжала всѣхъ знакомыхъ женщинъ, чтобы отыскать Рябовскаго, и всѣ понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушіемъ!

Эта фраза ей такъ понравилась, что, встрѣчаясь съ художниками, которые знали объ ея романѣ съ Рябовскимъ, она всякій разъ говорила про мужа, дѣлая энергическій жестъ рукой:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушіемъ.

Порядокъ жизни былъ такой же, какъ въ прошломъ году. По средамъ бывали вечеринки. Артистъ читалъ, художники рисовали, віолончелистъ игралъ, пѣвецъ пѣлъ, и неизмѣнно въ половинѣ двѣнадцатаго открывалась дверь, ведущая въ столовую, и Дымовъ, улыбаясь, говорилъ:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Попрежнему Ольга Ивановна искала великихъ людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. Попрежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымовъ уже не спалъ, какъ въ прошломъ году, а сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и что-то работалъ. Ложился онъ часа въ три, а вставалъ въ восемь.

Однажды вечеромъ, когда она, собираясь въ театръ, стояла передъ трюмо, въ спальню вошелъ Дымовъ во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Онъ кротко

улыбался и, какъ прежде, радостно смотрѣлъ женѣ прямо въ глаза. Лицо его сіяло.

— Я сейчасъ диссертацію защищалъ, — сказалъ онъ, садясь и поглаживая колѣна.

— Защитилъ? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмѣялся онъ и вытянулъ шею, чтобы увидѣть въ зеркалѣ лицо жены, которая продолжала стоять къ нему спиной и поправлять прическу. — Ого! — повторилъ онъ. — Знаешь, очень возможно, что мнѣ предложатъ приватъ-доцентуру по общей патологіи. Этимъ пахнетъ.

Видно было по его блаженному, сіяющему лицу, что, если бы Ольга Ивановна раздѣлила съ нимъ его радость и торжество, то онъ простилъ бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забылъ, но она не понимала, что значитъ приватъ-доцентура и общая патологія, къ тому же боялась опоздать въ театръ и ничего не сказала.

Онъ посидѣлъ двѣ минуты, виновато улыбнулся и вышелъ.

VII.

Это былъ безпокойнѣйшій день.

У Дымова сильно болѣла голова; онъ утромъ не пилъ чаю, не пошелъ въ больницу и все время лежалъ у себя въ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ. Ольга Ивановна, по обыкновенію, въ первомъ часу отправилась къ Рябовскому, чтобы показать ему свой этюдъ nature morte и спросить его, почему онъ вчера не приходилъ. Этюдъ казался ей ничтожнымъ,

и написала она его только затѣмъ, чтобы имѣть лишній предлогъ сходить къ художнику.

Она вошла къ нему безъ звонка, и когда въ передней снимала калоши, ей послышалось, какъ будто въ мастерской что-то тихо пробѣжало, по-женски шурша платьемъ, и когда она поспѣшила заглянуть въ мастерскую, то увидѣла только кусокъ коричневой юбки, который мелькнулъ на мгновеніе и исчезъ за большою картиной, занавѣшенной вмѣстѣ съ мольбертомъ до пола чернымъ коленкоромъ. Сомнѣваться нельзя было, это пряталась женщина. Какъ часто сама Ольга Ивановна находила себѣ убѣжище за этой картиной! Рябовскій, повидимому, очень смущенный, какъ бы удивился ея приходу, протянулъ къ ней обѣ руки и сказалъ, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень радъ васъ видѣть. Что скажете хорошенькаго?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за милліонъ не согласилась бы говорить въ присутствіи посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вѣроятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вамъ этюдъ... — сказала она робко топкимъ голоскомъ, и губы ея задрожали, — nature morte.

— А-а-а... этюдъ?

Художникъ взялъ въ руки этюдъ и, разсматривая его, какъ бы машинально прошелъ въ другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за нимъ.

— Nature morte... первый сортъ, — бормоталъ онъ, подбирая риѳму, — курортъ... чортъ. . портъ...

Изъ мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значитъ, *она* ушла. Ольгѣ Ивановнѣ хотѣлось громко крикнуть, ударить художника по головѣ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и уйти, но она ничего не видѣла сквозь слезы, была подавлена своимъ стыдомъ и чувствовала себя ужъ не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я усталъ... — томно проговорилъ художникъ, глядя на этюдъ и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюдъ, и вчера этюдъ, и въ прошломъ году этюдъ, и черезъ мѣсяцъ будетъ этюдъ... Какъ вамъ не наскучитъ? Я бы на вашемъ мѣстѣ бросилъ живопись и занялся серьезно музыкой или чѣмъ-нибудь... Вѣдь вы не художница, а музыкантша... Однако, знаете, какъ я усталъ! Я сейчасъ скажу, чтобъ дали чаю... А?

Онъ вышелъ изъ комнаты, и Ольга Ивановна слышала, какъ онъ что-то приказывалъ своему лакею. Чтобъ не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовскій, поскорѣе побѣжала въ переднюю, надѣла калоши и вышла на улицу. Тутъ она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и отъ Рябовскаго, и отъ живописи, и отъ тяжелаго стыда, который такъ давилъ ее въ мастерской. Все кончено! Она поѣхала къ портнихѣ, потомъ къ Барнаю, который только вчера пріѣхалъ, отъ Барная — въ нотный магазинъ и все время она думала о томъ, какъ она напишетъ Рябовскому холодное, жесткое, полное собственнаго достоинства письмо, и какъ весною или лѣтомъ она поѣдетъ

съ Дымовымъ въ Крымъ, освободится тамъ окончательно отъ прошлаго и начнетъ новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечеромъ, она, не переодѣваясь, сѣла въ гостиной сочинять письмо. Рябовскій сказалъ ей, что она не художница, и она въ отместку напишетъ ему теперь, что онъ каждый годъ пишетъ все одно и то же и каждый день говоритъ одно и то же, что онъ застылъ, и что изъ него не выйдетъ ничего, кромѣ того, что уже вышло. Ей хотѣлось написать также, что онъ многимъ обязанъ ея хорошему вліянію, а если онъ поступаетъ дурно, то это только потому, что ея вліяніе парализуется разными двусмысленными особами, въ родѣ той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвалъ изъ кабинета Дымовъ, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебѣ?

— Мама, ты не входи ко мнѣ, а только подойди къ двери. — Вотъ что... Третьяго дня я заразился въ больницѣ дифтеритомъ и теперь... мнѣ нехорошо. Пошли поскорѣе за Коростелевымъ.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, какъ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ, не по имени, а по фамиліи; его имя Осипъ не нравилось ей, потому что напоминало гоголевскаго Осипа и каламбуръ: „Осипъ охрипъ, а Архипъ осипъ“. Теперь же она вскрикнула:

— Осипъ, это не можетъ быть!

— Пошли! Мнѣ нехорошо... — сказалъ за дверью Дымовъ, и слышно было, какъ онъ подошелъ къ дивану и легъ. — Пошли! — глухо послышался его голосъ.

„Что же это такое?“ подумала Ольга Ивановна, холодѣя отъ ужаса. „Вѣдь это опасно!“

Безъ всякой надобности она взяла свѣчу и пошла къ себѣ въ спальню и тутъ, соображая, что ей нужно дѣлать, нечаянно поглядѣла на себя въ трюмо. Съ блѣднымъ, испуганнымъ лицомъ, въ жакетѣ съ высокими рукавами, съ желтыми воланами на груди и съ необыкновеннымъ направленіемъ полосъ на юбкѣ, она показалась себѣ странной и гадкой. Ей вдругъ стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви къ ней, его молодой жизни и даже этой его осиротѣлой постели, на которой онъ давно уже не спалъ, и вспомнилась ей его обычная кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII.

Когда въ восьмомъ часу утра Ольга Ивановна, съ тяжелой отъ безсонницы головой, непричесанная, некрасивая и съ виноватымъ выраженіемъ вышла изъ спальни, мимо нея прошелъ въ переднюю какой-то господинъ съ черною бородой, повидимому, докторъ. Пахло лѣкарствами. Около двери въ кабинетъ стоялъ Коростелевъ и правою рукой крутилъ лѣвый усъ.

— Къ нему, извините, я васъ не пущу, — угрюмо сказалъ онъ Ольгѣ Ивановнѣ. — Заразиться можно. Да и не къ чему вамъ, въ сущности. Онъ все равно въ бреду.

— У него настоящій дифтеритъ? — спросила шопотомъ Ольга Ивановна.

— Тѣхъ, кто на рожонъ лѣзетъ, по-настоящему подъ судъ отдавать надо, — пробормоталъ Коростелевъ, не отвѣчая на вопросъ Ольги Ивановны. — Знаете, отчего онъ заразился? Во вторникъ у мальчика высасывалъ черезъ трубочку дифтеритическія пленки. А къ чему? Глупо... Такъ, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорятъ, что форма тяжелая. Надо бы за Шрекомъ послать, въ сущности.

Приходилъ маленькій, рыженькій, съ длиннымъ носомъ и съ еврейскимъ акцентомъ, потомъ высокій, сутулый, лохматый, похожій на протодьякона; потомъ молодой, очень полный, съ краснымъ лицомъ и въ очкахъ. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелевъ, отдежуривъ свое время, не уходилъ домой, а оставался и, какъ тѣнь, бродилъ по всѣмъ комнатамъ. Горничная подавала дежурившимъ докторамъ чай и часто бѣгала въ аптеку, и некому было убрать комнатъ. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидѣла у себя въ спальнѣ и думала о томъ, что это Богъ ее наказываетъ за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое отъ излишней доброты, глухо страдало гдѣ-то тамъ у себя на диванѣ и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы въ бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноватъ тутъ не одинъ только дифтеритъ. Спросили бы они Коростелева: онъ знаетъ все и не да-

ромъ на жену своего друга смотритъ такими глазами, какъ будто она-то и есть самая главная, настоящая злодѣйка, а дифтеритъ только ея сообщникъ. Она уже не помнила ни луннаго вечера на Волгѣ, ни объясненій въ любви, ни поэтической жизни въ избѣ, а помнила только, что она изъ пустой прихоти, изъ баловства, вся, съ руками и съ ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, отчего никогда ужъ не отмоешься...

„Ахъ, какъ я страшно солгала!“ думала она, вспоминая о безпокойной любви, какая у нея была съ Рябовскимъ. „Будь оно все проклято!..“

Въ четыре часа она обѣдала вмѣстѣ съ Коростелевымъ. Онъ ничего не ѣлъ, пилъ только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ѣла. То она мысленно молилась и давала обѣтъ Богу, что если Дымовъ выздоровѣетъ, то она полюбитъ его опять и будетъ вѣрною женой. То, забывшись на минуту, она смотрѣла на Коростелева и думала: „Неужели не скучно быть простымъ, ничѣмъ не замѣчательнымъ, неизвѣстнымъ человѣкомъ, да еще съ такимъ помятымъ лицомъ и съ дурными манерами?“ То ей казалось, что ее сію минуту убьетъ Богъ за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была въ кабинетѣ у мужа. А въ общемъ было тупое унылое чувство и увѣренность, что жизнь уже испорчена и что ничѣмъ ея не исправишь...

Послѣ обѣда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла въ гостиную, Коростелевъ спалъ на кушеткѣ, подложивъ подъ голову шелковую подушку, шитую золотомъ. „Кхи-пуа... храпѣлъ онъ,—кхи-пуа“.

И доктора, приходившіе дежурить и уходившіе, не замѣчали этого безпорядка. То, что чужой человѣкъ спалъ въ гостиной и храпѣлъ, и этюды на стѣнахъ, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одѣта — все это не возбуждало теперь ни малѣйшаго интереса. Одинъ изъ докторовъ нечаянно чему-то засмѣялся, и какъ-то странно и робко прозвучалъ этотъ смѣхъ, даже жутко сдѣлалось.

Когда Ольга Ивановна въ другой разъ вышла въ гостиную, Коростелевъ уже не спалъ, а сидѣлъ и курилъ.

— У него дифтеритъ носовой полости,—сказалъ онъ вполголоса. — Уже... и сердце не важно работаетъ. Въ сущности, плохи дѣла.

— А вы пошлите за Шрекомъ, — сказала Ольга Ивановна.

— Былъ уже. Онъ-то и замѣтилъ, что дифтеритъ перешелъ въ носъ. Э, да что Шрекъ! Въ сущности, ничего Шрекъ. Онъ Шрекъ, я Коростелевъ – и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одѣтая въ неубранной съ утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира отъ полу до потолка занята громаднымъ кускомъ желѣза, и что стоитъ только вынести вонъ желѣзо, какъ всѣмъ станетъ весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не желѣзо, а болѣзнь Дымова.

„Nature morte, портъ...—думала она, опять впадая въ забытье, — спортъ... курортъ... А какъ Шрекъ? Шрекъ, грекъ, врекъ... крекъ. А гдѣ-то теперь мои

друзья? Знаютъ ли они, что у насъ горе? Господи, спаси... избави. Шрекъ, грекъ...“

И опять желѣзо... Время тянулось длинно, а часы въ нижнемъ этажѣ били часто. И то и дѣло слышались звонки: приходили доктора... Вошла горничная съ пустымъ стаканомъ на подносѣ и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получивъ отвѣта, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волгѣ, и опять кто-то вошелъ въ спальню, кажется, посторонній. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который часъ? — спросила она.

— Около трехъ.

— Ну что?

— Да что! Я пришелъ сказать: кончается...

Онъ всхлипнулъ, сѣлъ на кровать рядомъ съ ней и вытеръ слезы рукавомъ. Она сразу не поняла, но вся похолодѣла и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторилъ онъ тонкимъ голоскомъ и опять всхлипнулъ. — Умираетъ, потому что пожертвовалъ собой... Какая потеря для науки! — сказалъ онъ съ горечью. — Это, если всѣхъ насъ сравнить съ нимъ, былъ великій, необыкновенный человѣкъ! Какія дарованія! Какія надежды онъ подавалъ намъ всѣмъ! — продолжалъ Коростелевъ, ломая руки. — Господи Боже мой, это былъ бы такой ученый, какого теперь съ огнемъ не найдешь. Оська Дымовъ, Оська Дымовъ, что ты надѣлалъ! Ай-ай, Боже мой!

Коростелевъ въ отчаяніи закрылъ обѣими руками лицо и покачалъ головой.

— А какая нравственная сила! — продолжалъ онъ, все больше и больше озлобляясь на кого-то.— Добрая, чистая, любящая душа — не человѣкъ, а стекло! Служилъ наукѣ и умеръ отъ науки. А работалъ, какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ, и молодой ученый, будущій профессоръ, долженъ былъ искать себѣ практику и по ночамъ заниматься переводами, чтобы платить вотъ за эти... подлыя тряпки!

Коростелевъ поглядѣлъ съ ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обѣими руками и сердито рванулъ, какъ будто она была виновата.

— И самъ себя не щадилъ, и его не щадили. Э, да что, въ сущности!

— Да, рѣдкій человѣкъ! — сказалъ кто-то басомъ въ гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь съ нимъ, отъ начала до конца, со всѣми подробностями, и вдругъ поняла, что это былъ въ самомъ дѣлѣ необыкновенный, рѣдкій и, въ сравненіи съ тѣми, кого она знала, великій человѣкъ. И вспомнивъ, какъ къ нему относились ея покойный отецъ и всѣ товарищи-врачи, она поняла, что всѣ они видѣли въ немъ будущую знаменитость. Стѣны, потолокъ, лампа и коверъ на полу замигали ей насмѣшливо, какъ бы желая сказать: „Прозѣвала! прозѣвала!“ Она съ плачемъ бросилась изъ спальни, шмыгнула въ гостиной мимо какого-то незнакомаго человѣка и вбѣжала въ кабинетъ къ мужу. Онъ лежалъ неподвижно на турецкомъ диванѣ, покрытый до пояса одѣяломъ. Лицо его страшно осунулось, похудѣло и имѣло сѣровато-желтый цвѣтъ,

какого никогда не бываетъ у живыхъ; и только по лбу, по чернымъ бровямъ, да по знакомой улыбкѣ можно было узнать, что это Дымовъ. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лобъ и руки. Грудь еще была тепла, но лобъ и руки были непріятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрѣли не на Ольгу Ивановну, а на одѣяло.

— Дымовъ! — позвала она громко. — Дымовъ!

Она хотѣла объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще можетъ быть прекрасной и счастливой, что онъ рѣдкій, необыкновенный, великій человѣкъ, и что она будетъ всю свою жизнь благоговѣть предъ нимъ, молиться и испытывать священный страхъ...

— Дымовъ! — звала она, трепля его за плечо и не вѣря тому, что онъ уже никогда не проснется.— Дымовъ! Дымовъ же!

А въ гостиной Коростелевъ говорилъ горничной:

— Да что тутъ спрашивать? Вы ступайте въ церковную сторожку и спросите, гдѣ живутъ богадѣлки. Онѣ и обмоютъ тѣло и уберутъ — все сдѣлаютъ, что нужно.

Черный монахъ.

I.

Андрей Васильевичъ Ковринъ, магистръ, утомился и разстроилъ себѣ нервы. Онъ не лѣчился, но какъ-то вскользь, за бутылкой вина, поговорилъ съ пріятелемъ докторомъ, и тотъ посовѣтовалъ ему провести весну и лѣто въ деревнѣ. Кстати же пришло длинное письмо отъ Тани Песоцкой, которая просила его пріѣхать въ Борисовку и погостить. И онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно проѣхаться.

Сначала — это было въ апрѣлѣ — онъ поѣхалъ къ себѣ, въ свою родовую Ковринку, и здѣсь прожилъ въ уединеніи три недѣли; потомъ, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадяхъ къ своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, извѣстному въ Россіи садоводу. Отъ Ковринки до Борисовки, гдѣ жили Песоцкіе, считалось не больше семидесяти верстъ, и ѣхать по мягкой весенней дорогѣ въ покойной рессорной коляскѣ было истиннымъ наслажденіемъ.

Домъ у Песоцкаго былъ громадный, съ колоннами, со львами, на которыхъ облупилась штукатурка, и съ фрачнымъ лакеемъ у подъѣзда. Ста-

ринный паркъ, угрюмый и строгій, разбитый на англійскій манеръ, тянулся чуть ли не на цѣлую версту отъ дома до рѣки и здѣсь оканчивался обрывистымъ, крутымъ глинистымъ берегомъ, на которомъ росли сосны съ обнажившимися корнями, похожими на мохнатыя лапы; внизу нелюдимо блестѣла вода, носились съ жалобнымъ пискомъ кулики, и всегда тутъ было такое настроеніе, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самаго дома, во дворѣ и въ фруктовомъ саду, который вмѣстѣ съ питомниками занималъ десятинъ тридцать, было весело и жизнерадостно даже въ дурную погоду. Такихъ удивительныхъ розъ, лилій, камелій, такихъ тюльпановъ всевозможныхъ цвѣтовъ, начиная съ ярко-бѣлаго и кончая чернымъ какъ сажа, вообще такого богатства цвѣтовъ, какъ у Песоцкаго, Коврину не случалось видѣть нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Весна была еще только въ началѣ, и самая настоящая роскошь цвѣтниковъ пряталась еще въ теплицахъ, но ужъ и того, что цвѣло вдоль аллей и тамъ и сямъ на клумбахъ, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя въ царствѣ нѣжныхъ красокъ, особенно въ ранніе часы, когда на каждомъ лепесткѣ сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада, и что самъ Песоцкій презрительно обзывалъ пустяками, производило на Коврина когда-то въ дѣтствѣ сказочное впечатлѣніе. Какихъ только тутъ не было причудъ, изысканныхъ уродствъ и издѣвательствъ надъ природой! Тутъ были шпалеры изъ фруктовыхъ деревьевъ, груша, имѣвшая форму пирами-

дальнаго тополя, шаровидные дубы и липы, зонтъ изъ яблони, арки, вензеля, канделабры и даже 1862 изъ сливъ — цифра, означавшая годъ, когда Песоцкій впервые занялся садоводствомъ. Попадались тутъ и красивыя стройныя деревца съ прямыми и крѣпкими, какъ у пальмъ, стволами, и, только пристально всмотрѣвшись, можно было узнать въ этихъ деревцахъ крыжовникъ или смородину. Но что больше всего веселило въ саду и придавало ему оживленный видъ, такъ это постоянное движеніе. Отъ ранняго утра до вечера около деревьевъ, кустовъ, на аллеяхъ и клумбахъ, какъ муравьи, копошились люди съ тачками, мотыками, лейками...

Ковринъ пріѣхалъ къ Песоцкимъ вечеромъ, въ десятомъ часу. Таню и ея отца, Егора Семеновича, онъ засталъ въ большой тревогѣ. Ясное, звѣздное небо и термометръ пророчили морозъ къ утру, а между тѣмъ садовникъ Иванъ Карлычъ уѣхалъ въ городъ, и положиться было не на кого. За ужиномъ говорили только объ утренникѣ и было рѣшено, что Таня не ляжетъ спать и въ первомъ часу пройдется по саду и посмотритъ, все ли въ порядкѣ, а Егоръ Семеновичъ встанетъ въ три часа и даже раньше.

Ковринъ просидѣлъ съ Таней весь вечеръ и послѣ полуночи отправился съ ней въ садъ. Было холодно. Во дворѣ уже сильно пахло гарью. Въ большомъ фруктовомъ саду, который назывался коммерческимъ и приносилъ Егору Семеновичу ежегодно нѣсколько тысячъ чистаго дохода, стлался по землѣ черный, густой, ѣдкій дымъ и, обволакивая деревья, спасалъ отъ мороза эти тысячи. Де-

ревья тутъ стояли въ шашечномъ порядкѣ, ряды ихъ были прямы и правильны, точно шеренги солдатъ, и эта строгая педантическая правильность и то, что всѣ деревья были одного роста и имѣли совершенно одинаковые кроны и стволы, дѣлали картину однообразной и даже скучной. Ковринъ и Таня прошли по рядамъ, гдѣ тлѣли костры изъ навоза, соломы и всякихъ отбросовъ, и изрѣдка имъ встрѣчались работники, которые бродили въ дыму, какъ тѣни. Цвѣли только вишни, сливы и нѣкоторые сорта яблонь, но весь садъ утопалъ въ дыму, и только около питомниковъ Ковринъ вздохнулъ полной грудью.

— Я еще въ дѣтствѣ чихалъ здѣсь отъ дыма,— сказалъ онъ, пожимая плечами,—но до сихъ поръ не понимаю, какъ это дымъ можетъ спасти отъ мороза.

— Дымъ замѣняетъ облака, когда ихъ нѣтъ...— отвѣтила Таня.

— А для чего нужны облака?

— Въ пасмурную и облачную погоду не бываетъ утренниковъ.

— Вотъ какъ!

Онъ засмѣялся и взялъ ее за руку. Ея широкое, очень серьезное, озябшее лицо съ тонкими черными бровями, поднятый воротникъ пальто, мѣшавшій ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, въ подобранномъ отъ росы платьѣ, умилила его.

— Господи, она уже взрослая!— сказалъ онъ.— Когда я уѣзжалъ отсюда въ послѣдній разъ, пять лѣтъ назадъ, вы были еще совсѣмъ дитя. Вы были

такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнилъ васъ цаплей... Что дѣлаетъ время!

— Да, пять лѣтъ! — вздохнула Таня. — Много воды утекло съ тѣхъ поръ. Скажите, Андрюша, посовѣсти,— живо заговорила она, глядя ему въ лицо, — вы отвыкли отъ насъ? Впрочемъ, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчужденіе такъ естественно! Но какъ бы ни было, Андрюша, мнѣ хочется, чтобы вы считали насъ своими. Мы имѣемъ на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у насъ такъ много вашихъ фотографій. Вѣдь вы знаете, мой отецъ обожаетъ васъ. Иногда мнѣ кажется, что васъ онъ любитъ больше, чѣмъ меня. Онъ гордится вами. Вы ученый необыкновенный человѣкъ, вы сдѣлали себѣ блестящую карьеру, и онъ увѣренъ, что вы вышли такой оттого, что онъ воспиталъ васъ. Я не мѣшаю ему такъ думать. Пусть.

Уже начинался разсвѣтъ, и это особенно было замѣтно по той отчетливости, съ какою стали выдѣляться въ воздухѣ клубы дыма и кроны деревьевъ. Пѣли соловьи, и съ полей доносился крикъ перепеловъ.

— Однако, пора спать, — сказала Таня. — Да и холодно. — Она взяла его подъ руку. — Спасибо, Андрюша, что пріѣхали. У насъ неинтересные знакомые, да и тѣхъ мало. У насъ только садъ, садъ,

садъ, — и больше ничего. Штамбъ, полуштамбъ, — засмѣялась она, — апортъ, ранетъ, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла въ садъ, мнѣ даже ничего никогда не снится, кромѣ яблонь и грушъ. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразія. Я помню, когда вы, бывало, пріѣзжали къ намъ на каникулы или просто такъ, то въ домѣ становилось какъ-то свѣжѣе и свѣтлѣе, точно съ люстры и съ мебели чехлы снимали. Я была тогда дѣвочкой и все-таки понимала...

Она говорила долго и съ большимъ чувствомъ. Ему почему-то вдругъ пришло въ голову, что въ теченіе лѣта онъ можетъ привязаться къ этому маленькому, слабому, многорѣчивому существу, увлечься и влюбиться,—въ положеніи ихъ обоихъ это такъ возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмѣшила его; онъ нагнулся къ милому, озабоченному лицу и запѣлъ тихо:

Онѣгинъ, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егоръ Семенычъ уже всталъ. Коврину не хотѣлось спать, онъ разговорился со старикомъ и вернулся съ нимъ въ садъ. Егоръ Семенычъ былъ высокаго роста, широкъ въ плечахъ, съ большимъ животомъ и страдалъ одышкой, но всегда ходилъ такъ быстро, что за нимъ трудно было поспѣть. Видъ онъ имѣлъ крайне озабоченный, все куда-то торопился и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто опоздай онъ хоть на одну минуту, то все погибло!

— Вотъ, братъ, исторія...—началъ онъ, останавли-

ваясь, чтобы перевести духъ. — На поверхности земли, какъ видишь, морозъ, а подними на палкѣ термометръ сажени на двѣ повыше земли, тамъ тепло... Отчего это такъ?

— Право, не знаю, -- сказалъ Ковринъ и засмѣялся.

— Гмъ... Всего знать нельзя, конечно... Какъ бы обширенъ умъ ни былъ, всего туда не помѣстишь. Ты вѣдь все больше насчетъ философіи?

— Да. Читаю психологію, занимаюсь же вообще философіей.

— И не прискучаетъ?

— Напротивъ, этимъ только я и живу.

— Ну дай Богъ...—проговорилъ Егоръ Семенычъ, въ раздумьѣ поглаживая свои сѣдые бакены.—Дай Богъ... Я за тебя очень радъ... радъ, братецъ...

Но вдругъ онъ прислушался и, сдѣлавши страшное лицо, побѣжалъ въ сторону и скоро исчезъ за деревьями, въ облакахъ дыма.

— Кто это привязалъ лошадь къ яблонѣ? — послышался его отчаянный, душу раздирающій крикъ.—Какой это мерзавецъ и каналья осмѣлился привязать лошадь къ яблонѣ? Боже мой, Боже мой! Перепортили, перемерзили, перескверниля, перепакостили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ! Боже мой!

Когда онъ вернулся къ Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное...

— Ну что ты подѣлаешь съ этимъ анаѳемскимъ народомъ?— сказалъ онъ плачущимъ голосомъ, разводя руками.—Степка возилъ ночью навозъ и привязалъ лошадь къ яблонѣ... замоталъ, подлецъ,

вожжищи туго-натуго, такъ что кора въ трехъ мѣстахъ потерлась. Каково! Говорю ему, а онъ—толкачъ толкачомъ и только глазами хлопаетъ! Повѣсить мало!

Успокоившись, онъ обнялъ Коврина и поцѣловалъ въ щеку.

— Ну, дай Богъ... дай Богъ... — забормоталъ онъ.—Я очень радъ, что ты пріѣхалъ. Несказанно радъ... Спасибо.

Потомъ онъ все тою же быстрою походкой и съ озабоченнымъ лицомъ обошелъ весь садъ и показалъ своему бывшему воспитаннику всѣ оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои двѣ пасѣки, которыя называлъ чудомъ нашего столѣтія.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко освѣтило садъ. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Ковринъ вспомнилъ, что вѣдь это еще только начало мая, и что еще впереди цѣлое лѣто, такое же ясное, веселое, длинное, и вдругъ въ груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое онъ испытывалъ въ дѣтствѣ, когда бѣгалъ по этому саду. И онъ самъ обнялъ старика и нѣжно поцѣловалъ его. Оба растроганные пошли въ домъ и стали пить чай изъ старинныхъ фарфоровыхъ чашекъ, со сливками, съ сытными, сдобными кренделями—и эти мелочи опять напомнили Коврину его дѣтство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшіяся въ немъ впечатлѣнія прошлаго сливались вмѣстѣ; отъ нихъ въ душѣ было тѣсно, но хорошо.

Онъ дождался, когда проснулась Таня, и вмѣстѣ съ нею напился кофе, погулялъ, потомъ пошелъ

къ себѣ въ комнату и сѣлъ за работу. Онъ внимательно читалъ, дѣлалъ замѣтки и изрѣдка поднималъ глаза, чтобы взглянуть на открытыя окна или на свѣжіе, еще мокрые отъ росы цвѣты, стоявшіе въ вазахъ на столѣ, и опять опускалъ глаза въ книгу, и ему казалось, что въ немъ каждая жилочка дрожитъ и играетъ отъ удовольствія.

II.

Въ деревнѣ онъ продолжалъ вести такую же нервную и безпокойную жизнь, какъ въ городѣ. Онъ много читалъ и писалъ, учился итальянскому языку и, когда гулялъ, съ удовольствіемъ думалъ о томъ, что скоро опять сядетъ за работу. Онъ спалъ такъ мало, что всѣ удивлялись; если нечаянно уснетъ днемъ на полчаса, то уже потомъ не спитъ всю ночь и послѣ безсонной ночи, какъ ни въ чемъ не бывало, чувствуетъ себя бодро и весело.

Онъ много говорилъ, пилъ вино и курилъ дорогія сигары. Къ Песоцкимъ часто, чуть ли не каждый день, пріѣзжали барышни-сосѣдки, которыя вмѣстѣ съ Таней играли на рояли и пѣли; иногда пріѣзжалъ молодой человѣкъ, сосѣдъ, хорошо игравшій на скрипкѣ. Ковринъ слушалъ музыку и пѣніе съ жадностью и изнемогалъ отъ нихъ, и послѣднее выражалось физически тѣмъ, что у него слипались глаза и клонило голову на бокъ.

Однажды послѣ вечерняго чая онъ сидѣлъ на балконѣ и читалъ. Въ гостиной въ это время Таня — сопрано, одна изъ барышень — контральто и моло-

дой человѣкъ на скрипкѣ разучивали извѣстную серенаду Брага. Ковринъ вслушивался въ слова — они были русскія, — и никакъ не могъ понять ихъ смысла. Наконецъ, оставивъ книгу и вслушавшись внимательно, онъ понялъ: дѣвушка, больная воображеніемъ, слышала ночью въ саду какіе-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать ихъ гармоніей священной, которая намъ, смертнымъ, непонятна и потому обратно улетаетъ въ небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Онъ всталъ и въ изнеможеніи прошелся по гостиной, потомъ по залѣ. Когда пѣніе прекратилось, онъ взялъ Таню подъ руку и вышелъ съ нею на балконъ.

— Меня сегодня съ самаго утра занимаетъ одна легенда, — сказалъ онъ. — Не помню, вычиталъ ли я ее откуда или слышалъ, но легенда какая-то странная, ни съ чѣмъ не сообразная... Начать съ того, что она не отличается ясностью. Тысячу лѣтъ тому назадъ какой-то монахъ, одѣтый въ черное, шелъ по пустынѣ, гдѣ-то въ Сиріи или Аравіи... За нѣсколько миль отъ того мѣста, гдѣ онъ шелъ, рыбаки видѣли другого чернаго монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этотъ второй монахъ былъ миражъ. Теперь забудьте всѣ законы оптики, которыхъ легенда, кажется, не признаетъ, и слушайте дальше. Отъ миража получился другой миражъ, потомъ отъ другого третій, такъ что образъ чернаго монаха сталъ безъ конца передаваться изъ одного слоя атмосферы въ другой... Его видѣли то въ Африкѣ, то въ Испаніи, то въ Индіи, то на Дальнемъ Сѣверѣ... Наконецъ, онъ вышелъ изъ пре-

дѣловъ земной атмосферы и теперь блуждаетъ по всей вселенной, все никакъ не попадая въ тѣ условія, при которыхъ онъ могъ бы померкнуть. Быть-можетъ, его видять теперь гдѣ-нибудь на Марсѣ или на какой-нибудь звѣздѣ Южнаго Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается въ томъ, что ровно черезъ тысячу лѣтъ послѣ того, какъ монахъ шелъ по пустынѣ, миражъ опять попадетъ въ земную атмосферу и покажется людямъ. И будто бы эта тысяча лѣтъ уже на исходѣ... По смыслу легенды, чернаго монаха мы должны ждать не сегодня — завтра.

— Странный миражъ, — сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнѣе всего, — засмѣялся Ковринъ, — что я никакъ не могу вспомнить, откуда попала мнѣ въ голову эта легенда. Читалъ гдѣ? Слышалъ? Или, быть-можетъ, черный монахъ снился мнѣ? Клянусь Богомъ, не помню. Но легенда меня занимаетъ. Я сегодня о ней цѣлый день думаю.

Отпустивъ Таню къ гостямъ, онъ вышелъ изъ дому и въ раздумьѣ прошелся около клумбъ. Уже садилось солнце. Цвѣты, оттого, что ихъ только что полили, издавали влажный, раздражающій запахъ. Въ домѣ опять запѣли, и издали скрипка производила впечатлѣніе человѣческаго голоса. Ковринъ, напрягая мысль, чтобы вспомнить, гдѣ онъ слышалъ или читалъ легенду, направился, не спѣша, въ паркъ и незамѣтно дошелъ до рѣки.

По тропинкѣ, бѣжавшей по крутому берегу мимо обнаженныхъ корней, онъ спустился внизъ къ водѣ, обезпокоилъ тутъ куликовъ, спугнулъ двухъ

утокъ. На угрюмыхъ соснахъ кое-гдѣ еще отсвѣчивали послѣдніе лучи заходящаго солнца, но на поверхности рѣки былъ уже настоящій вечеръ. Ковринъ по лавамъ перешелъ на другую сторону. Передъ нимъ теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цвѣтущею рожью. Ни человѣческаго жилья ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведетъ въ то самое неизвѣстное загадочное мѣсто, куда только что опустилось солнце, и гдѣ такъ широко и величаво пламенѣетъ вечерняя заря.

„Какъ здѣсь просторно, свободно, тихо! — думалъ Ковринъ, идя по тропинкѣ.—И кажется, весь міръ смотритъ на меня, притаился и ждетъ, чтобы я понялъ его...“

Но вотъ по ржи пробѣжали волны, и легкій вечерній вѣтерокъ нѣжно коснулся его непокрытой головы. Черезъ минуту опять порывъ вѣтра, но уже сильнѣе, — зашумѣла рожь, и послышался сзади глухой ропотъ сосенъ. Ковринъ остановился въ изумленіи. На горизонтѣ, точно вихрь или смерчъ, поднимался отъ земли до неба высокій черный столбъ. Контуры у него были неясны, но въ первое же мгновеніе можно было понять, что онъ не стоялъ на мѣстѣ, а двигался съ страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чѣмъ ближе онъ подвигался, тѣмъ становился все меньше и яснѣе. Ковринъ бросился въ сторону, въ рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успѣлъ это сдѣлать...

Монахъ въ черной одеждѣ, съ сѣдою головой и черными бровями, скрестивъ на груди руки, пронесся мимо... Босыя ноги его не касались земли.

Уже пронесясь сажени на три, онъ оглянулся на Коврина, кивнулъ головой и улыбнулся ему ласково и въ то же время лукаво. Но какое блѣдное, страшно блѣдное, худое лицо! Опять начиная расти, онъ пролетѣлъ черезъ рѣку, неслышно ударился о глинистый берегъ и сосны и, пройдя сквозь нихъ, исчезъ какъ дымъ.

— Ну вотъ видите ли... — пробормоталъ Коврин. — Значитъ, въ легендѣ правда.

Не стараясь объяснить себѣ странное явленіе, довольный однимъ тѣмъ, что ему удалось такъ близко и такъ ясно видѣть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, пріятно взволнованный, онъ вернулся домой.

Въ паркѣ и въ саду покойно ходили люди, въ домѣ играли, — значитъ только онъ одинъ видѣлъ монаха. Ему сильно хотѣлось разсказать обо всемъ Танѣ и Егору Семеновичу, но онъ сообразилъ, что они навѣрное сочтутъ его слова за бредъ, и это испугаетъ ихъ; лучше промолчать. Онъ громко смѣялся, пѣлъ, танцовалъ мазурку, ему было весело, и всѣ, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что онъ очень интересенъ.

III.

Послѣ ужина, когда уѣхали гости, онъ пошелъ къ себѣ въ комнату и легъ на диванъ: ему хотѣлось думать о монахѣ. Но черезъ минуту вошла Таня.

— Вотъ, Андрюша, почитайте статьи отца... — сказала она, подавая ему пачку брошюръ и оттисковъ.—Прекрасныя статьи. Онъ отлично пишетъ.

— Ну, ужъ и отлично!—говорилъ Егоръ Семеновичъ, входя за ней и принужденно смѣясь: ему было совѣстно.—Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочемъ, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолѣпныя статьи, — сказала Таня съ глубокимъ убѣжденіемъ. — Вы прочтите, Андрюша, и убѣдите папу писать почаще. Онъ могъ бы написать полный курсъ садоводства.

Егоръ Семенычъ напряженно захохоталъ, покраснѣлъ и сталъ говорить фразы, какія обыкновенно говорятъ конфузящіеся авторы. Наконецъ, онъ сталъ сдаваться.

— Въ такомъ случаѣ прочти сначала статью Гоше и вотъ эти русскія статейки, — забормоталъ онъ, перебирая дрожащими руками брошюры, — а то тебѣ будетъ непонятно. Прежде чѣмъ читать мои возраженія, надо знать, на что я возражаю. Впрочемъ ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егоръ Семенычъ подсѣлъ къ Коврину на диванъ и глубоко вздохнулъ.

— Да, братецъ ты мой... — началъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія...—Такъ-то, любезнѣйшій мой магистръ. Вотъ я и статьи пишу, и на выставкахъ участвую, и медали получаю... У Песоцкаго, говорятъ, яблоки съ голову, и Песоцкій, говорятъ, садомъ себѣ состояніе нажилъ... Однимъ словомъ, богатъ и славенъ Кочубей. Но спрашивается: къ

чему все это? Садъ, дѣйствительно, прекрасный, образцовый... Это не садъ, а цѣлое учрежденіе, имѣющее высокую государственную важность, потому что это, такъ сказать, ступень въ новую эру русскаго хозяйства и русской промышленности. Но къ чему? Какая цѣль?

— Дѣло говоритъ само за себя.

— Я не въ томъ смыслѣ. Я хочу спросить: что будетъ съ садомъ, когда я помру? Въ томъ видѣ, въ какомъ ты видишь его теперь, онъ безъ меня не продержится и одного мѣсяца. Весь секретъ успѣха не въ томъ, что садъ великъ и рабочихъ много, а въ томъ, что я люблю дѣло — понимаешь? — люблю, быть-можетъ, больше чѣмъ самого себя. Ты посмотри на меня: я все самъ дѣлаю. Я работаю отъ утра до ночи. Всѣ прививки я дѣлаю самъ, обрѣзку — самъ, посадки — самъ, все — самъ. Когда мнѣ помогаютъ, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секретъ въ любви, то-есть въ зоркомъ хозяйскомъ глазѣ да въ хозяйскихъ рукахъ, да въ томъ чувствѣ, когда поѣдешь куда-нибудь въ гости на часокъ, сидишь, а у самого сердце не на мѣстѣ, самъ не свой: боишься, какъ бы въ саду чего не случилось. А когда я умру, кто будетъ смотрѣть? Кто будетъ работать? Садовникъ? Работники? Да? Такъ вотъ что я тебѣ скажу, другъ любезный: первый врагъ въ нашемъ дѣлѣ не заяцъ, не хрущъ и не морозъ, а чужой человѣкъ.

— А Таня? — спросилъ Ковринъ, смѣясь. — Нельзя, чтобы она была вреднѣе, чѣмъ заяцъ. Она любитъ и понимаетъ дѣло.

— Да, она любитъ и понимаетъ. Если послѣ моей

смерти ей достанется садъ, и она будетъ хозяйкой, то, конечно, лучшаго и желать нельзя. Ну, а если, не дай Богъ, она выйдетъ замужъ? — зашепталъ Егоръ Семеновичъ и испуганно посмотрѣлъ на Коврина.—То-то вотъ и есть! Выйдетъ замужъ, пойдутъ дѣти, тутъ уже о садѣ некогда думать. Я чего боюсь главнымъ образомъ: выйдетъ за какого-нибудь молодца, а тотъ сжадничаетъ и сдастъ садъ въ аренду торговкамъ, и все пойдетъ къ чорту въ первый же годъ! Въ нашемъ дѣлѣ бабы — бичъ Божій!

Егоръ Семеновичъ вздохнулъ и помолчалъ немного.

— Можетъ, это и эгоизмъ, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замужъ. Боюсь! Тутъ къ намъ ѣздитъ одинъ фертъ со скрипкой и пиликаетъ; знаю, что Таня не пойдетъ за него, хорошо знаю, но видѣть его не могу! Вообще, братъ, я большой-таки чудакъ. Сознаюсь.

Егоръ Семенычъ всталъ и въ волненіи прошелся по комнатѣ, и видно было, что онъ хочетъ сказать что-то очень важное, но не рѣшается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить съ тобой откровенно, — рѣшился онъ, наконецъ, засовывая руки въ карманы. — Къ нѣкоторымъ щекотливымъ вопросамъ я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпѣть не могу такъ называемыхъ сокровенныхъ мыслей. Говорю прямо: ты единственный человѣкъ, за котораго я не побоялся бы выдать дочь. Ты человѣкъ умный, съ сердцемъ, и не далъ бы погибнуть моему любимому дѣлу. А главная причина — я тебя люблю какъ сына... и

горжусь тобой. Если бы у васъ съ Таней наладился какъ-нибудь романъ, то — что жъ? я былъ бы очень радъ и даже счастливъ. Говорю это прямо, безъ жеманства, какъ честный человѣкъ.

Ковринъ засмѣялся. Егоръ Семеновичъ открылъ дверь, чтобы выйти, и остановился на порогѣ.

— Если бы у тебя съ Таней сынъ родился, то я бы изъ него садовода сдѣлалъ, — сказалъ онъ, подумавъ. — Впрочемъ, сіе есть мечтаніе пустое... Спокойной ночи.

Оставшись одинъ, Ковринъ легъ поудобнѣе и принялся за статьи. У одной было такое заглавіе: „О промежуточной культурѣ“, у другой: „Нѣсколько словъ по поводу замѣтки г. Z. о перештыковкѣ почвы подъ новый садъ“, у третьей: „Еще объ окулировкѣ спящимъ глазкомъ“—и все въ такомъ родѣ. Но какой непокойный, неровный тонъ, какой нервный, почти болѣзненный задоръ! Вотъ статья, кажется, съ самымъ мирнымъ заглавіемъ и безразличнымъ содержаніемъ: говорится въ ней о русской антоновской яблонѣ. Но начинаетъ ее Егоръ Семеновичъ съ „audiatur altera pars“ и кончаетъ — „Sapienti sat“, а между этими изреченіями цѣлый фонтанъ разныхъ ядовитыхъ словъ по адресу „ученаго невѣжества нашихъ патентованныхъ гг. садоводовъ, наблюдающихъ природу съ высоты своихъ каѳедръ“, или г. Гоше, „успѣхъ котораго созданъ профанами и дилетантами“, и тутъ же некстати натянутое и неискреннее сожалѣніе, что мужиковъ, ворующихъ фрукты и ломающихъ при этомъ деревья, уже нельзя драть розгами.

„Дѣло красивое, милое, здоровое, но и тутъ

страсти и война, — подумалъ Ковринъ. — Должно-быть, вездѣ и на всѣхъ поприщахъ идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вѣроятно, это такъ нужно".

Онъ вспомнилъ про Таню, которой такъ нравятся статьи Егора Семеновича. Небольшого роста, блѣдная, тощая, такъ что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищутъ; походка какъ у отца, мелкая, торопливая. Она много говоритъ, любитъ поспорить, и при этомъ всякую даже незначительную фразу сопровождаетъ выразительною мимикой и жестикуляціей. Должно-быть, нервна въ высшей степени.

Ковринъ сталъ читать дальше, но ничего не понялъ и бросилъ. Пріятное возбужденіе, то самое, съ какимъ онъ давеча танцовалъ мазурку и слушалъ музыку, теперь томило его и вызывало въ немъ множество мыслей. Онъ поднялся и сталъ ходить по комнатѣ, думая о черномъ монахѣ. Ему пришло въ голову, что если этого страннаго, сверхъестественнаго монаха видѣлъ только онъ одинъ, то, значитъ, онъ боленъ и дошелъ уже до галлюцинацій. Это соображеніе испугало его, но не надолго.

„Но вѣдь мнѣ хорошо, и я никому не дѣлаю зла; значитъ, въ моихъ галлюцинаціяхъ нѣтъ ничего дурного", подумалъ онъ, и ему опять стало хорошо.

Онъ сѣлъ на диванъ и обнялъ голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потомъ опять прошелся и сѣлъ за работу. Но мысли, которыя онъ вычитывалъ изъ кни-

ги, не удовлетворяли его. Ему хотѣлось чего-то гигантскаго, необъятнаго, поражающаго. Подъ утро онъ раздѣлся и нехотя легъ въ постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеновича, уходившаго въ садъ, Ковринъ позвонилъ и приказалъ лакею принести вина. Онъ съ наслажденіемъ выпилъ нѣсколько рюмокъ лафита, потомъ укрылся съ головой; сознаніе его затуманилось, и онъ уснулъ.

IV.

Егоръ Семеновичъ и Таня часто ссорились и говорили другъ другу непріятности.

Какъ-то утромъ они о чемъ-то повздорили. Таня заплакала и ушла къ себѣ въ комнату. Она не выходила ни обѣдать ни чай пить. Егоръ Семеновичъ сначала ходилъ важный, надутый, какъ бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свѣтѣ, но скоро не выдержалъ характера и палъ духомъ. Онъ печально бродилъ по парку и все вздыхалъ: „ахъ, Боже мой, Боже мой!“ и за обѣдомъ не съѣлъ ни одной крошки. Наконецъ, виноватый, замученный совѣстью, онъ постучалъ въ запертую дверь и позвалъ робко:

— Таня! Таня?

И въ отвѣтъ ему изъ-за двери послышался слабый, изнемогшій отъ слезъ и въ то же время рѣшительный голосъ:

— Оставьте меня, прошу васъ.

Томленіе хозяевъ отражалось на всемъ домѣ, даже на людяхъ, которые работали въ саду. Ковринъ былъ погруженъ въ свою интересную работу, но подъ конецъ и ему стало скучно и неловко. Чтобы какъ-нибудь развѣять общее дурное настроеніе, онъ рѣшилъ вмѣшаться и передъ вечеромъ постучался къ Танѣ. Его впустили.

— Ай-ай, какъ стыдно! — началъ онъ шутливо, съ удивленіемъ глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани.—Неужели такъ серьезно? Ай-ай!

— Но если бы вы знали, какъ онъ меня мучитъ! — сказала она, и слезы, горючія, обильныя слезы брызнули изъ ея большихъ глазъ.—Онъ замучилъ меня! — продолжала она, ломая руки. — Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нѣтъ надобности держать... лишнихъ работниковъ, если... если можно, когда угодно, имѣть поденщиковъ. Вѣдь... вѣдь работники уже цѣлую недѣлю ничего не дѣлаютъ... Я... я только это сказала, а онъ раскричался и наговорилъ мнѣ... много обиднаго, глубоко оскорбительнаго. За что?

— Полно, полно,—проговорилъ Ковринъ, поправляя ей прическу. — Побранились, поплакали и будетъ. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тѣмъ болѣе, что онъ васъ безконечно любитъ.

— Онъ мнѣ... мнѣ испортилъ всю жизнь, — продолжала Таня, всхлипывая.—Только и слышу одни оскорбленія и... и обиды. Онъ считаетъ меня лишней въ его домѣ. Что же? Онъ правъ. Я завтра уѣду отсюда, поступлю въ телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо,

милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я васъ помирю.

Ковринъ говорилъ ласково и убѣдительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, какъ будто ее въ самомъ дѣлѣ постигло страшное несчастье. Ему было жаль ея тѣмъ сильнѣе, что горе у нея было не серьезное, а страдала она глубоко. Какихъ пустяковъ было достаточно, чтобы сдѣлать это созданіе несчастнымъ на цѣлый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утѣшая Таню, Ковринъ думалъ о томъ, что, кромѣ этой дѣвушки и ея отца, во всемъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь людей, которые любили бы его какъ своего, какъ родного; если бы не эти два человѣка, то, пожалуй, онъ, потерявшій отца и мать въ раннемъ дѣтствѣ, до самой смерти не узналъ бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не разсуждающая любовь, какую питаютъ только къ очень близкимъ, кровнымъ людямъ. И онъ чувствовалъ, что его полубольнымъ, издерганнымъ нервамъ, какъ желѣзо магниту, отвѣчаютъ нервы этой плачущей, вздрагивающей дѣвушки. Онъ никогда бы ужъ не могъ полюбить здоровую, крѣпкую, краснощекую женщину, но блѣдная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И онъ охотно гладилъ ее по волосамъ и плечамъ, пожималъ ей руки и утиралъ слезы... Наконецъ, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь въ этомъ домѣ, умоляя Коврина войти въ ея положеніе; потомъ стала мало-по-малу улыбаться и вздыхать, что Богъ послалъ ей такой

дурной характеръ, въ концѣ-концовъ, громко разсмѣявшись, назвала себя дурой и выбѣжала изъ комнаты.

Когда немного погодя Ковринъ вышелъ въ садъ, Егоръ Семеновичъ и Таня уже какъ ни въ чемъ не бывало гуляли рядышкомъ по аллеѣ и оба ѣли ржаной хлѣбъ съ солью, такъ какъ оба были голодны.

V.

Довольный, что ему такъ удалась роль миротворца, Ковринъ пошелъ въ паркъ. Сидя на скамьѣ и размышляя, онъ слышалъ стукъ экипажей и женскій смѣхъ — это пріѣхали гости. Когда вечернія тѣни стали ложиться по саду, неясно послышались звуки скрипки, поющіе голоса, и это напомнило ему про чернаго монаха. Гдѣ-то, въ какой странѣ или на какой планетѣ носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва онъ вспомнилъ легенду и нарисовалъ въ своемъ воображеніи то темное привидѣніе, которое видѣлъ на ржаномъ полѣ, какъ изъ-за сосны, какъ разъ напротивъ, вышелъ неслышно, безъ малѣйшаго шороха, человѣкъ средняго роста съ непокрытою сѣдою головой, весь въ темномъ и босой, похожій на нищаго, и на его блѣдномъ, точно мертвомъ лицѣ рѣзко выдѣлялись черныя брови. Привѣтливо кивая головой, этотъ нищій или странникъ безшумно подошелъ къ скамьѣ и сѣлъ, и Ковринъ узналъ въ немъ чернаго монаха. Минуту

оба смотрѣли другъ на друга — Коврннъ съ изумленіемъ, а монахъ ласково и, какъ и тогда, немножко лукаво, съ выраженіемъ себѣ-на-умѣ.

— Но вѣдь ты миражъ,—проговорилъ Ковринъ.— Зачѣмъ же ты здѣсь и сидишь на одномъ мѣстѣ? Это не вяжется съ легендой.

— Это все равно, — отвѣтилъ монахъ не сразу, тихимъ голосомъ, обращаясь къ нему лицомъ. — Легенда, миражъ и я — все это продуктъ твоего возбужденнаго воображенія. Я — призракъ.

— Значитъ, ты не существуешь? — спросилъ Ковринъ.

— Думай, какъ хочешь, — сказалъ монахъ и слабо улыбнулся. — Я существую въ твоемъ воображеніи, а воображеніе твое есть часть природы, значитъ, я существую и въ природѣ.

— У тебя очень старое умное и въ высшей степени выразительное лицо, точно ты въ самомъ дѣлѣ прожилъ больше тысячи лѣтъ, — сказалъ Ковринъ. — Я не зналъ, что мое воображеніе способно создавать такіе феномены. Но что ты смотришь на меня съ такимъ восторгомъ? Я тебѣ нравлюсь?

— Да. Ты одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые по справедливости называются избранниками Божіими. Ты служишь вѣчной правдѣ. Твои мысли, намѣренія, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носятъ на себѣ божественную, небесную печать, такъ какъ посвящены они разумному и прекрасному, то-есть тому, что вѣчно.

— Ты сказалъ: вѣчной правдѣ... Но развѣ лю-

дямъ доступна и нужна вѣчная правда, если нѣтъ вѣчной жизни?

— Вѣчная жизнь есть, — сказалъ монахъ.

— Ты вѣришь въ безсмертіе людей?

— Да, конечно. Васъ, людей, ожидаетъ великая, блестящая будущность. И чѣмъ больше на землѣ такихъ, какъ ты, тѣмъ скорѣе осуществится это будущее. Безъ васъ, служителей высшему началу, живущихъ сознательно и свободно, человѣчество было бы ничтожно; развиваясь естественнымъ порядкомъ, оно долго бы еще ждало конца своей земной исторіи. Вы же на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше введете его въ царство вѣчной правды — и въ этомъ ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословеніе Божіе, которое почило на людяхъ.

— А какая цѣль вѣчной жизни? — спросилъ Ковринъ.

— Какъ и всякой жизни — наслажденіе. Истинное наслажденіе въ познаніи, а вѣчная жизнь представитъ безчисленные и неисчерпаемые источники для познанія, и въ этомъ смыслѣ сказано: въ дому Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты зналъ, какъ пріятно слушать тебя! — сказалъ Ковринъ, потирая отъ удовольствія руки.

— Очень радъ.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будетъ безпокоить вопросъ о твоей сущности. Ты призракъ, галлюцинація. Значитъ, я психически боленъ, ненормаленъ?

— Хотя бы и такъ. Что смущаться? Ты боленъ,

потому что работалъ черезъ силу и утомился, а это значитъ, что свое здоровье ты принесъ въ жертву идеѣ, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это—то, къ чему стремятся всѣ вообще одаренныя свыше благородныя натуры.

— Если я знаю, что я психически боленъ, то могу ли я вѣрить себѣ?

— А почему ты знаешь, что геніальные люди, которымъ вѣритъ весь свѣтъ, тоже не видѣли призраковъ? Говорятъ же теперь ученые, что геній сродни умопомѣшательству. Другъ мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображенія насчетъ нервнаго вѣка, переутомленія, вырожденія и т. п. могутъ серьезно волновать только тѣхъ, кто цѣль жизни видитъ въ настоящемъ, то-есть стадныхъ людей.

— Римляне говорили: mens sana in corpore sano.

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроеніе, возбужденіе, экстазъ — все то, что отличаетъ пророковъ, поэтовъ, мучениковъ за идею отъ обыкновенныхъ людей, противно животной сторонѣ человѣка, то-есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мнѣ самому приходитъ въ голову, — сказалъ Ковринъ. — Ты какъ будто подсмотрѣлъ и подслушалъ мои сокровенныя мысли. Но давай говорить не обо мнѣ. Что ты разумѣешь подъ вѣчною правдой?

Монахъ не отвѣтилъ. Ковринъ взглянулъ на него и не разглядѣлъ лица: черты его туманились и расплывались. Затѣмъ у монаха стали исчезать

голова, руки; туловище его смѣшалось со скамьей и съ вечерними сумерками, и онъ исчезъ совсѣмъ.

— Галлюцинація кончилась! — сказалъ Ковринъ и засмѣялся. — А жаль.

Онъ пошелъ назадъ къ дому веселый и счастливый. То немногое, что сказалъ ему черный монахъ, льстило не самолюбію, а всей душѣ, всему существу его. Быть избранникомъ, служить вѣчной правдѣ, стоять въ ряду тѣхъ, которые на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше сдѣлаютъ человѣчество достойнымъ царствія Божія, то-есть избавятъ людей отъ нѣсколькихъ лишнихъ тысячъ лѣтъ борьбы, грѣха и страданій, отдать идеѣ все — молодость, силы, здоровье, быть готовымъ умереть для общаго блага, — какой высокій, какой счастливый удѣлъ! У него пронеслось въ памяти его прошлое, чистое, цѣломудренное, полное труда, онъ вспомнилъ то, чему учился и чему самъ училъ другихъ, и рѣшилъ, что въ словахъ монаха не было преувеличенія.

Навстрѣчу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здѣсь? — сказала она. — А мы васъ ищемъ, ищемъ... Но что съ вами? — удивилась она, взглянувъ на его восторженное, сіяющее лицо, и на глаза, полные слезъ.—Какой вы странный, Андрюша.

— Я доволенъ, Таня, — сказалъ Ковринъ, кладя ей руки на плечи. — Я больше, чѣмъ доволенъ, я счастливъ! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я такъ радъ, такъ радъ!

Онъ горячо поцѣловалъ ей обѣ руки и продолжалъ:

— Я только что пережилъ свѣтлыя, чудныя, неземныя минуты. Но я не могу разсказать вамъ всего, потому что вы назовете меня сумасшедшимъ, или не повѣрите мнѣ. Будемъ говорить о васъ. Милая, славная Таня. Я васъ люблю и уже привыкъ любить. Ваша близость, встрѣчи наши по десяти разъ въ день стали потребностью моей души. Не знаю, какъ я буду обходиться безъ васъ, когда уѣду къ себѣ?

— Ну! — засмѣялась Таня. — Вы забудете про насъ черезъ два дня. Мы люди маленькіе, а вы великій человѣкъ.

— Нѣтъ, будемъ говорить серьезно! — сказалъ онъ. — Я возьму васъ съ собой, Таня. Да? Вы поѣдете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну!—сказала Таня и хотѣла опять засмѣяться, но смѣха не вышло, и красныя пятна выступили у нея на лицѣ.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не къ дому, а дальше въ паркъ.

— Я не думала объ этомъ... не думала! — говорила она, какъ бы въ отчаяніи сжимая руки.

А Ковринъ шелъ за ней и говорилъ все съ тѣмъ же сіяющимъ, восторженнымъ лицомъ:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мнѣ. Я счастливъ! Счастливъ!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарѣлась сразу на десять лѣтъ, а онъ находилъ ее прекрасной и громко выражалъ свой восторгъ:

— Какъ она хороша!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] прямо [illegible] При всемъ томъ [illegible] уже было приниматься [illegible] за фрукты и деревья и [illegible] большую перемену. И въ самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевыя работы, которыя отняли у сада больше половины рабочихъ; Егоръ Семеновичъ, сильно загорѣвшій, замученный, злой, скакалъ то въ садъ, то въ поле и кричалъ, что его разрываютъ на части, и что онъ пуститъ себѣ пулю въ лобъ.

А тутъ еще возня съ приданымъ, которому Пе-

соцкіе придавали не малое значеніе; отъ звяканья ножницъ, стука швейныхъ машинъ, угара утюговъ и отъ капризовъ модистки, нервной, обидчивой дамы, у всѣхъ въ домѣ кружились головы. И какъ нарочно, каждый день пріѣзжали гости, которыхъ надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незамѣтно, какъ въ туманѣ. Таня чувствовала себя такъ, какъ будто любовь и счастье захватили ее врасплохъ, хотя съ четырнадцати лѣтъ была увѣрена почему-то, что Ковринъ женится именно на ней. Она изумлялась, недоумѣвала, не вѣрила себѣ... То вдругъ нахлынетъ такая радость, что хочется улетѣть подъ облака и тамъ молиться Богу, а то вдругъ вспомнится, что въ августѣ придется разставаться съ роднымъ гнѣздомъ и оставлять отца, или Богъ вѣсть откуда, придетъ мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великаго человѣка, какъ Ковринъ, — и она уходитъ къ себѣ, запирается на ключъ и горько плачетъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Когда бываютъ гости, вдругъ ей покажется, что Ковринъ необыкновенно красивъ и что въ него влюблены всѣ женщины и завидуютъ ей, и душа ея наполняется восторгомъ и гордостью, какъ будто она побѣдила весь свѣтъ, но стоитъ ему привѣтливо улыбнуться какой-нибудь барышнѣ, какъ она ужъ дрожитъ отъ ревности, уходитъ къ себѣ — и опять слезы. Эти новыя ощущенія завладѣли ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замѣчала ни персиковъ, ни гусеницъ, ни рабочихъ, ни того, какъ быстро бѣжало время.

Съ Егоромъ Семеновичемъ происходило почти то же самое. Онъ работалъ съ утра до ночи, все спѣшилъ куда-то, выходилъ изъ себя, раздражался, но все это въ какомъ-то волшебномъ полуснѣ. Въ немъ уже сидѣло какъ будто бы два человѣка: одинъ былъ настоящій Егоръ Семеновичъ, который, слушая садовника Ивана Карловича, докладывавшаго ему о безпорядкахъ, возмущался и въ отчаяніи хваталъ себя за голову, и другой не настоящій, точно полупьяный, который вдругъ на полусловѣ прерывалъ дѣловой разговоръ, трогалъ садовника за плечо и начиналъ бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значитъ. Его мать была удивительная, благороднѣйшая, умнѣйшая женщина. Было наслажденіемъ смотрѣть на ея доброе, ясное, чистое лицо какъ у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранныхъ языкахъ, пѣла... Бѣдняжка, царство ей небесное, скончалась отъ чахотки.

Не настоящій Егоръ Семеновичъ вздыхалъ и, помолчавъ, продолжалъ:

— Когда онъ былъ мальчикомъ и росъ у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взглядъ, и движенія, и разговоръ нѣжны и изящны, какъ у матери. А умъ? Онъ всегда поражалъ насъ своимъ умомъ. Да и то сказать, не даромъ онъ магистръ! Не даромъ! А погоди, Иванъ Карлычъ, каковъ онъ будетъ лѣтъ черезъ десять! Рукой не достанешь!

Но тутъ настоящій Егоръ Семеновичъ, спохватившись, дѣлалъ страшное лицо, хваталъ себя за голову и кричалъ:

— Черти! Перескверниля, перепоганили, перемерзили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ!

А Ковринъ работалъ съ прежнимъ усердіемъ и не замѣчалъ сутолоки. Любовь только подлила масла въ огонь. Послѣ каждаго свиданія съ Таней, онъ, счастливый, восторженный, шелъ къ себѣ и съ тою же страстностью, съ какою онъ только что цѣловалъ Таню и объяснялся ей въ любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорилъ черный монахъ объ избранникахъ Божіихъ, вѣчной правдѣ, о блестящей будущности человѣчества и проч., придавало его работѣ особенное, необыкновенное значеніе и наполняло его душу гордостью, сознаніемъ собственной высоты. Разъ или два въ недѣлю, въ паркѣ или въ домѣ онъ встрѣчался съ чернымъ монахомъ и подолгу бесѣдовалъ съ нимъ, но это не пугало, а, напротивъ, восхищало его, такъ какъ онъ былъ уже крѣпко убѣжденъ, что подобныя видѣнія посѣщаютъ только избранныхъ, выдающихся людей, посвятившихъ себя служенію идеѣ.

Однажды монахъ явился во время обѣда и сѣлъ въ столовой у окна. Ковринъ обрадовался и очень ловко завелъ разговоръ съ Егоромъ Семеновичемъ и съ Таней о томъ, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушалъ и привѣтливо кивалъ головой, а Егоръ Семеновичъ и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозрѣвая, что Ковринъ говоритъ не съ ними, а со своей галлюцинаціей.

Незамѣтно подошелъ Успенскій постъ, а за нимъ скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому

желанію Егора Семеновича, отпраздновали „съ трескомъ“, то-есть съ безтолковою гульбой, продолжавшейся двое сутокъ. Съѣли и выпили тысячи на три, но отъ плохой наемной музыки, крикливыхъ тостовъ и лакейской бѣготни, отъ шума и тѣсноты не поняли вкуса ни въ дорогихъ винахъ ни въ удивительныхъ закускахъ, выписанныхъ изъ Москвы.

VII.

Какъ-то въ одну изъ длинныхъ зимнихъ ночей Ковринъ лежалъ въ постели и читалъ французскій романъ. Бѣдняжка Таня, у которой по вечерамъ болѣла голова отъ непривычки жить въ городѣ, давно уже спала и изрѣдка въ бреду произносила какія-то безсвязныя фразы.

Пробило три часа. Ковринъ потушилъ свѣчу и легъ, долго лежалъ съ закрытыми глазами, но уснуть не могъ оттого, какъ казалось ему, что въ спальнѣ было очень жарко и бредила Таня. Въ половинѣ пятаго онъ опять зажегъ свѣчу и въ это время увидѣлъ чернаго монаха, который сидѣлъ въ креслѣ около постели.

— Здравствуй, — сказалъ монахъ и, помолчавъ немного, спросилъ: — о чемъ ты теперь думаешь?

— О славѣ, — отвѣтилъ Ковринъ. — Во французскомъ романѣ, который я сейчасъ читалъ, изображенъ человѣкъ, молодой ученый, который дѣлаетъ глупости и чахнетъ отъ тоски по славѣ. Мнѣ эта тоска непонятна.

— Потому что ты уменъ. Ты къ славѣ относишься безразлично, какъ къ игрушкѣ, которая тебя не занимаетъ.

— Да, это правда.

— Извѣстность не улыбается тебѣ. Что лестнаго или забавнаго или поучительнаго въ томъ, что твое имя вырѣжутъ на могильномъ памятникѣ, и потомъ время сотретъ эту надпись вмѣстѣ съ позолотой? Да и къ счастью, васъ слишкомъ много, чтобы слабая человѣческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно, — согласился Ковринъ. — Да и зачѣмъ ихъ помнить? Но давай поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ. Напримѣръ, о счастьѣ. Что такое счастье?

Когда часы били пять, онъ сидѣлъ на кровати, свѣсивъ ноги на коверъ, и говорилъ, обращаясь къ монаху:

— Въ древности одинъ счастливый человѣкъ въ концѣ-концовъ испугался своего счастья — такъ оно было велико! — и, чтобы умилостивить боговъ, принесъ имъ въ жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, какъ Поликрата, начинаетъ немножко безпокоить мое счастье. Мнѣ кажется страннымъ, что отъ утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняетъ всего меня и заглушаетъ всѣ остальныя чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вотъ я не сплю, у меня безсонница, но мнѣ не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумѣвать.

— Но почему? — изумился монахъ. — Развѣ радость сверхъестественное чувство? Развѣ она не

должна быть нормальнымъ состояніемъ человѣка? Чѣмъ выше человѣкъ по умственному и нравственному развитію, чѣмъ онъ свободнѣе, тѣмъ большее удовольствіе доставляетъ ему жизнь. Сократъ, Діогенъ и Маркъ Аврелій испытывали радость, а не печаль. И апостолъ говоритъ: постоянно радуйтеся. Радуйся же и будь счастливъ.

— А вдругъ прогнѣваются боги? — пошутилъ Ковринъ и засмѣялся. — Если они отнимутъ у меня комфортъ и заставятъ меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мнѣ по вкусу.

Таня между тѣмъ проснулась и съ изумленіемъ и ужасомъ смотрѣла на мужа. Онъ говорилъ, обращаясь къ креслу, жестикулировалъ и смѣялся; глаза его блестѣли и въ смѣхѣ было что-то странное.

— Андрюша, съ кѣмъ ты говоришь? — спросила она, хватая его за руку, которую онъ протянулъ къ монаху. — Андрюша! Съ кѣмъ?

— А? Съ кѣмъ? — смутился Ковринъ. — Вотъ съ нимъ... Вотъ онъ сидитъ, — сказалъ онъ, указывая на чернаго монаха.

— Никого здѣсь нѣтъ... никого! Андрюша, ты боленъ!

Таня обняла мужа и прижалась къ нему, какъ бы защищая его отъ видѣній, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты боленъ! — зарыдала она, дрожа всѣмъ тѣломъ. — Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже замѣтила, что душа у тебя разстроена чѣмъ-то... Ты психически боленъ, Андрюша...

Дрожь ея сообщилась и ему. Онъ взглянулъ

еще разъ на кресло, которое уже было пусто, почувствовалъ вдругъ слабость въ рукахъ и ногахъ, испугался и сталъ одѣваться.

— Это ничего, Таня, ничего... — бормоталъ онъ, дрожа. — Въ самомъ дѣлѣ я немножко нездоровъ... пора уже сознаться въ этомъ.

— Я уже давно замѣчала... и папа замѣтилъ, — говорила она, стараясь сдержать рыданія. — Ты самъ съ собой говоришь, какъ-то странно улыбаешься... не спишь. О, Боже мой, Боже мой, спаси насъ! — проговорила она въ ужасѣ. — Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради не бойся...

Она тоже стала одѣваться... Только теперь, глядя на нее, Ковринъ понялъ всю опасность своего положенія, понялъ, что значатъ черный монахъ и бесѣды съ нимъ. Для него теперь было ясно, что онъ сумасшедшій.

Оба, сами не зная зачѣмъ, одѣлись и пошли въ залу: она впереди, онъ за ней. Тутъ ужъ, разбуженный рыданіями, въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ стоялъ Егоръ Семеновичъ, который гостилъ у нихъ.

— Ты не бойся, Андрюша, — говорила Таня, дрожа какъ въ лихорадкѣ, — не бойся... Папа, это все пройдетъ... все пройдетъ...

Ковринъ отъ волненія не могъ говорить. Онъ хотѣлъ сказать тестю шутливымъ тономъ:

— Поздравьте, я, кажется, сошелъ съ ума, — но пошевелилъ только губами и горько улыбнулся.

Въ девять часовъ утра на него надѣли пальто и шубу, окутали его шалью и повезли въ каретѣ къ доктору. Онъ сталъ лѣчиться.

VIII.

Опять наступило лѣто, и докторъ приказалъ ѣхать въ деревню. Коврин уже выздоровѣлъ, пересталъ видѣть чернаго монаха и ему оставалось только подкрѣпить свои физическія силы. Живя у тестя въ деревнѣ, онъ пилъ много молока, работалъ только два часа въ сутки, не пилъ вина и не курилъ.

Подъ Ильинъ день вечеромъ въ домѣ служили всенощную. Когда дьячокъ подалъ священнику кадило, то въ старомъ громадномъ залѣ запахло точно кладбищемъ, и Коврину стало скучно. Онъ вышелъ въ садъ. Не замѣчая роскошныхъ цвѣтовъ, онъ погулялъ по саду, посидѣлъ на скамьѣ, потомъ прошелся по парку; дойдя до рѣки, онъ спустился внизъ и тутъ постоялъ въ раздумьѣ, глядя на воду. Угрюмыя сосны съ мохнатыми корнями, которыя въ прошломъ году видѣли его здѣсь такимъ молодымъ, радостнымъ и бодрымъ, теперь не шептались, а стояли неподвижныя и нѣмыя, точно не узнавали его. И въ самомъ дѣлѣ, голова у него острижена, длинныхъ красивыхъ волосъ уже нѣтъ, походка вялая, лицо, сравнительно съ прошлымъ лѣтомъ; пополнѣло и поблѣднѣло.

По лавамъ онъ перешелъ на тотъ берегъ. Тамъ, гдѣ въ прошломъ году была рожь, теперь лежалъ въ рядахъ скошенный овесъ. Солнце уже зашло, и на горизонтѣ пылало широкое красное зарево, предвѣщавшее на завтра вѣтреную погоду. Было

тихо... Всматриваясь по тому направленію, въ гдѣ прошломъ году показался впервые черный монахъ, Ковринъ постоялъ минутъ двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря...

Когда онъ вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егоръ Семеновичъ и Таня сидѣли на ступеняхъ террасы и пили чай. Они о чемъ-то говорили, но, увидѣвъ Коврина, вдругъ замолчали, и онъ заключилъ по ихъ лицамъ, что разговоръ у нихъ шелъ о немъ.

— Тебѣ, кажется, пора уже молоко пить, — сказала Таня мужу.

— Нѣтъ, не пора... — отвѣтилъ онъ, садясь на самую нижнюю ступень. — Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась съ отцомъ и сказала виноватымъ голосомъ:

— Ты самъ замѣчаешь, что молоко тебѣ полезно.

— Да, очень полезно! — усмѣхнулся Ковринъ. — Поздравляю васъ: послѣ пятницы во мнѣ прибавился еще одинъ фунтъ вѣсу.—Онъ крѣпко сжалъ руками голову и проговорилъ съ тоской: — Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лѣчили? Бромистые препараты, праздность, теплыя ванны, надзоръ, малодушный страхъ за каждый глотокъ, за каждый шагъ — все это въ концѣ концовъ доведетъ меня до идіотизма. Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но зато я такой, какъ всѣ: я — посредственность, мнѣ скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной! Я видѣлъ

галлюцинаціи, но кому это мѣшало? Я спрашиваю: кому это мѣшало?

— Богъ знаетъ, что ты говоришь! — вздохнулъ Егоръ Семеновичъ. — Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствіе людей, особенно Егора Семеновича, теперь ужъ раздражало Коврина, онъ отвѣчалъ ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрѣлъ на него, какъ насмѣшливо и съ ненавистью, а Егоръ Семеновичъ смущался и виновато покашливалъ, хотя вины за собой никакой не чувствовалъ. Не понимая, отчего такъ рѣзко измѣнились ихъ милыя, благодушныя отношенія, Таня жалась къ отцу и съ тревогой заглядывала ему въ глаза; она хотѣла понять и не могла, и для нея ясно было только, что отношенія съ каждымъ днемъ становятся все хуже и хуже, что отецъ въ послѣднее время сильно постарѣлъ, а мужъ сталъ раздражителенъ, капризенъ, придирчивъ и неинтересенъ. Она уже не могла смѣяться и пѣть, за обѣдомъ ничего не ѣла, не спала по цѣлымъ ночамъ, ожидая чего-то ужаснаго, и такъ измучилась, что однажды пролежала въ обморокѣ отъ обѣда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отецъ плакалъ, и теперь, когда они втроемъ сидѣли на террасѣ, она дѣлала надъ собой усилія, чтобы не думать объ этомъ.

— Какъ счастливы Будда и Магометъ или Шекспиръ, что добрые родственники и доктора не лѣчили ихъ отъ экстаза и вдохновенія! — сказалъ Ковринъ. — Если бы Магометъ принималъ отъ нервовъ бромистый калій, работалъ только два часа

въ сутки и пилъ молоко, то послѣ этого замѣчательнаго человѣка осталось бы такъ же мало, какъ послѣ его собаки. Доктора и добрые родственники въ концѣ концовъ сдѣлаютъ то, что человѣчество отупѣетъ, посредственность будетъ считаться геніемъ и цивилизація погибнетъ. Если бы вы знали, — сказалъ Ковринъ съ досадой, — какъ я вамъ благодаренъ!

Онъ почувствовалъ сильное раздраженіе и, чтобы не сказать лишняго, быстро всталъ и пошелъ въ домъ. Было тихо, и въ открытыя окна несся изъ сада ароматъ табака и ялаппы. Въ громадномъ темномъ залѣ на полу и на рояли темными пятнами лежалъ лунный свѣтъ. Коврину припомнились восторги прошлаго лѣта, когда такъ же пахло ялаппой, и въ окнахъ свѣтилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроеніе, онъ быстро пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, закурилъ крѣпкую сигару и приказалъ лакею принести вина. Но отъ сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, какъ въ прошломъ году. И что значитъ отвыкнуть! Отъ сигары и двухъ глотковъ вина у него закружилась голова, и началось сердцебіеніе, такъ что понадобилось принимать бромистый калій.

Передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отецъ обожаетъ тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убиваетъ его. Посмотри: онъ старѣетъ не по днямъ, а по часамъ. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойнаго отца, ради моего покоя, будь съ нимъ ласковъ!

— Не могу и не хочу.

— Но почему? — спросила Таня, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ. — Объясни мнѣ, почему?

— Потому что онъ мнѣ не симпатиченъ, вотъ и все, — небрежно сказалъ Ковринъ и пожалъ плечами, — но не будемъ говорить о немъ: онъ твой отецъ.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себѣ виски и глядя въ одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходитъ у насъ въ домѣ. Ты измѣнился, сталъ на себя не похожъ... Ты, умный, необыкновенный человѣкъ, раздражаешься изъ-за пустяковъ, вмѣшиваешься въ дрязги... Такія мелочи волнуютъ тебя, что иной разъ просто удивляешься и не вѣришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своихъ словъ и цѣлуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедливъ къ отцу. Онъ такой добрый!

— Онъ не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, въ родѣ твоего отца, съ сытыми добродушными физіономіями, необыкновенно хлѣбосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смѣшили и въ повѣстяхъ, и въ водевиляхъ, и въ жизни, теперь же они мнѣ противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнѣе всего мнѣ ихъ сытость и этотъ желудочный чисто бычій или кабаній оптимизмъ.

Таня сѣла на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка, — проговорила она, и по ея голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что

ей тяжело говорить. — Съ самой зимы ни одной покойной минуты... Вѣдь это ужасно, Боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Иродъ, а ты и твой папенька — египетскіе младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Танѣ некрасивымъ и непріятнымъ. Ненависть и насмѣшливое выраженіе не шли къ нему. Да и раньше она замѣчала, что на его лицѣ уже чего-то недостаетъ, какъ будто съ тѣхъ поръ, какъ онъ остригся, измѣнилось и лицо. Ей захотѣлось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчасъ же она поймала себя на непріязненномъ чувствѣ, испугалась и пошла изъ спальни.

IX.

Ковринъ получилъ самостоятельную каѳедру. Вступительная лекція была назначена на второе декабря, и объ этомъ было вывѣшено объявленіе въ университетскомъ коридорѣ. Но въ назначенный день онъ извѣстилъ инспектора студентовъ телеграммой, что читать лекціи не будетъ по болѣзни.

У него шла горломъ кровь. Онъ плевалъ кровью, но случалось раза два въ мѣсяцъ, что она текла обильно, и тогда онъ чрезвычайно слабѣлъ и впадалъ въ сонливое состояніе. Эта болѣзнь не особенно пугала его, такъ какъ ему было извѣстно, что его покойная мать жила точно съ такою же болѣзнью десять лѣтъ, даже больше; и доктора увѣряли, что это не опасно, и совѣтовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

Въ январѣ лекція опять не состоялась по той же причинѣ, а въ февралѣ было уже поздно начинать курсъ. Пришлось отложить до будущаго года.

Жилъ онъ уже не съ Таней, а съ другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за нимъ какъ за ребенкомъ. Настроеніе у него было мирное, покорное: онъ охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна — такъ звали его подругу — собралась везти его въ Крымъ, то онъ согласился, хотя предчувствовалъ, что изъ этой поѣздки не выйдетъ ничего хорошаго.

Они пріѣхали въ Севастополь вечеромъ и остановились въ гостиницѣ, чтобы отдохнуть и завтра ѣхать въ Ялту. Обоихъ утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Ковринъ не ложился. Еще дома, за часъ до отъѣзда на вокзалъ, онъ получилъ отъ Тани письмо и не рѣшился его распечатать, и теперь оно лежало у него въ боковомъ карманѣ, и мысль о немъ непріятно волновала его. Искренно, въ глубинѣ души свою женитьбу на Танѣ онъ считалъ теперь ошибкой, былъ доволенъ, что окончательно разошелся съ ней, и воспоминаніе объ этой женщинѣ, которая въ концѣ концовъ обратилась въ ходячія живыя мощи, и въ которой, какъ кажется, все уже умерло, кромѣ большихъ, пристально вглядывающихся, умныхъ глазъ, воспоминаніе о ней возбуждало въ немъ одну только жалость и досаду на себя. Почеркъ на конвертѣ напомнилъ ему, какъ онъ года два назадъ былъ несправедливъ и жестокъ, какъ вымещалъ на ни въ чемъ неповинныхъ людяхъ свою душевную пу-

стоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же онъ вспомнилъ, какъ однажды онъ рвалъ на мелкіе клочки свою диссертацію и всѣ статьи, написанныя за время болѣзни, и какъ бросалъ въ окно, и клочки, летая по вѣтру, цѣплялись за деревья и цвѣты; въ каждой строчкѣ видѣлъ онъ странныя, ни на чемъ не основанныя претензіи, легкомысленный задоръ, дерзость, манію величія, и это производило на него такое впечатлѣніе, какъ будто онъ читалъ описаніе своихъ пороковъ; но когда послѣдняя тетрадка была разорвана и полетѣла въ окно, ему почему-то вдругъ стало досадно и горько, онъ пошелъ къ женѣ и наговорилъ ей много непріятнаго. Боже мой, какъ онъ изводилъ ее! Однажды, желая причинить ей боль, онъ сказалъ ей, что ея отецъ игралъ въ ихъ романѣ непривлекательную роль, такъ какъ просилъ его жениться на ней; Егоръ Семеновичъ нечаянно подслушалъ это, вбѣжалъ въ комнату и съ отчаянія не могъ выговорить ни одного слова, и только топтался на одномъ мѣстѣ и какъ-то странно мычалъ, точно у него отнялся языкъ, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающимъ голосомъ и упала въ обморокъ. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взглядѣ на знакомый почеркъ. Коврин вышелъ на балконъ; была тихая теплая погода, и пахло моремъ. Чудесная бухта отражала въ себѣ луну и огни и имѣла цвѣтъ, которому трудно подобрать названіе. Это было нѣжное и мягкое сочетаніе синяго съ зеленымъ; мѣстами вода походила цвѣтомъ на си-

ній купоросъ, а мѣстами, казалось, лунный свѣтъ сгустился и вмѣсто воды наполнялъ бухту, а въ общемъ какое согласіе цвѣтовъ, какое мирное, покойное и высокое настроеніе!

Въ нижнемъ этажѣ подъ балкономъ окна, вѣроятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женскіе голоса и смѣхъ. Повидимому, тамъ была вечеринка.

Ковринъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, распечаталъ письмо и, войдя къ себѣ въ номеръ, прочелъ:

„Сейчасъ умеръ мой отецъ. Этимъ я обязана тебѣ, такъ какъ ты убилъ его. Нашъ садъ погибаетъ, въ немъ хозяйничаютъ уже чужіе, то-есть происходитъ то самое, чего такъ боялся бѣдный отецъ. Этимъ я обязана тоже тебѣ. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорѣе погибъ. О, какъ я страдаю! Мою душу жжетъ невыносимая боль... Будь ты проклятъ. Я приняла тебя за необыкновеннаго человѣка, за генія, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшимъ“...

Ковринъ не могъ дальше читать, изорвалъ письмо и бросилъ. Имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, какъ она дышала; изъ нижняго этажа доносились женскіе голоса и смѣхъ, но у него было такое чувство, какъ будто во всей гостиницѣ кромѣ него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горемъ Таня въ своемъ письмѣ проклинала его и желала его погибели, ему было жутко, и онъ мелькомъ взглядывалъ на дверь, какъ бы боясь, чтобы не вошла

въ номеръ и не распорядилась имъ опять та невѣдомая сила, которая въ какіе-нибудь два года произвела столько разрушеній въ его жизни и въ жизни близкихъ.

Онъ уже по опыту зналъ, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство отъ нихъ — это работа. Надо сѣсть за столъ и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Онъ досталъ изъ своего краснаго портфеля тетрадку, на которой былъ набросанъ конспектъ небольшой компилятивной работы, придуманной имъ на случай, если въ Крыму покажется скучно безъ дѣла. Онъ сѣлъ за столъ и занялся этимъ конспектомъ, и ему казалось, что къ нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроеніе. Тетрадка съ конспектомъ навела даже на размышленіе о суетѣ мірской. Онъ думалъ о томъ, какъ много беретъ жизнь за тѣ ничтожныя или весьма обыкновенныя блага, какія она можетъ дать человѣку. Напримѣръ, чтобы получить подъ сорокъ лѣтъ каѳедру, быть обыкновеннымъ профессоромъ, излагать вялымъ, скучнымъ, тяжелымъ языкомъ обыкновенныя и притомъ чужія мысли, — однимъ словомъ, для того, чтобы достигнуть положенія посредственнаго ученаго, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лѣтъ, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болѣзнь, пережить неудачный бракъ и продѣлать много всякихъ глупостей и несправедливостей, о которыхъ пріятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавалъ, что онъ — посредственность, и охотно мирился съ этимъ, такъ какъ,

по его мнѣнію, каждый человѣкъ долженъ быть доволенъ тѣмъ, что онъ есть.

Конспектъ совсѣмъ было успокоилъ его, но разорванное письмо бѣлѣло на полу и мѣшало ему сосредоточиться. Онъ всталъ изъ-за стола, подобралъ клочки письма и бросилъ въ окно, но подулъ съ моря легкій вѣтеръ, и клочки разсыпались по подоконнику. Опять имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ, и стало казаться, что во всей гостиницѣ кромѣ него нѣтъ ни одной души... Онъ вышелъ на балконъ... Бухта, какъ живая, глядѣла на него множествомъ голубыхъ, синихъ, бирюзовыхъ и огненныхъ глазъ и манила къ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, было жарко и душно и не мѣшало бы выкупаться.

Вдругъ въ нижнемъ этажѣ подъ балкономъ заиграла скрипка, и запѣли два нѣжныхъ женскихъ голоса. Это было что-то знакомое. Въ романсѣ, который пѣли внизу, говорилось о какой-то дѣвушкѣ, больной воображеніемъ, которая слышала ночью въ саду таинственные звуки и рѣшила, что это гармонія священная, намъ, смертнымъ, непонятная... У Коврина захватило дыханіе, и сердце сжалось отъ грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой онъ давно уже забылъ, задрожала въ его груди.

Черный высокій столбъ, похожій на вихрь или смерчъ, показался на томъ берегу бухты. Онъ съ страшною быстротой двигался черезъ бухту по направленію къ гостиницѣ, становясь все меньше и темнѣе, и Ковринъ едва успѣлъ посторониться, чтобы дать дорогу... Монахъ съ непокрытою сѣдою

головой и съ черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не повѣрилъ мнѣ? — спросилъ онъ съ укоризной, глядя ласково на Коврина. — Если бы ты повѣрилъ мнѣ тогда, что ты геній, то эти два года ты провелъ бы не такъ печально и скудно.

Ковринъ уже вѣрилъ тому, что онъ избранникъ Божій и геній, онъ живо припомнилъ всѣ свои прежніе разговоры съ чернымъ монахомъ и хотѣлъ говорить, но кровь текла у него изъ горла прямо на грудь, и онъ, не зная, что дѣлать, водилъ руками по груди, и манжетки стали мокрыми отъ крови. Онъ хотѣлъ позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сдѣлалъ усиліе и проговорилъ:

— Таня!

Онъ упалъ на полъ и, поднимаясь на руки, опять позвалъ:

— Таня!

Онъ звалъ Таню, звалъ большой садъ съ роскошными цвѣтами, обрызганными росой, звалъ паркъ, сосны съ мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смѣлость, радость, звалъ жизнь, которая была такъ прекрасна. Онъ видѣлъ на полу около своего лица большую лужу крови и не могъ уже отъ слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу подъ балкономъ играли серенаду, а черный монахъ шепталъ ему, что онъ геній, и что онъ умираетъ потому

только, что его слабое человѣческое тѣло уже утеряло равновѣсіе и не можетъ больше служить оболочкой для генія.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла изъ-за ширмъ, Ковринъ былъ уже мертвъ и на лицѣ его застыла блаженная улыбка.

Въ ссылкѣ.

Старый Семенъ, прозванный Толковымъ, и молодой татаринъ, котораго никто не зналъ по имени, сидѣли на берегу около костра; остальные три перевозчика находились въ избѣ. Семенъ, старикъ лѣтъ шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкій въ плечахъ и на видъ еще здоровый, былъ пьянъ; онъ давно бы уже пошелъ спать, но въ карманѣ у него былъ полуштофъ, и онъ боялся, какъ бы въ избѣ молодцы не попросили у него водки. Татаринъ былъ боленъ, томился и, кутаясь въ свои лохмотья, разсказывалъ, какъ хорошо въ Симбирской губерніи и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лѣтъ двадцать-пять, не больше, а теперь, при свѣтѣ костра, онъ, блѣдный, съ печальнымъ болѣзненнымъ лицомъ, казался мальчикомъ.

— Оно, конечно, тутъ не рай, — говорилъ Толковый. — Самъ видишь: вода, голые берега, кругомъ глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на рѣкѣ ледъ идетъ и утромъ нынче снѣгъ былъ.

— Худо! худо! — сказалъ татаринъ и оглядѣлся съ испугомъ.

Шагахъ въ десяти текла темная холодная рѣка; она ворчала, хлюпала объ изрытый глинистый берегъ и быстро неслась куда-то въ далекое море... У самаго берега темнѣла большая баржа, которую перевозчики называютъ „карбасомъ". Далеко на томъ берегу, потухая и переливаясь, змѣйками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змѣйками опять потемки. Слышно, какъ небольшія льдины стучатъ о баржу... Сыро, холодно...

Татаринъ взглянулъ на небо. Звѣздъ такъ же много, какъ дома у него, такая же чернота кругомъ, но чего-то недостаетъ. Дома, въ Симбирской губерніи, совсѣмъ не такія звѣзды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторилъ онъ.

— Привыкнешь! — сказалъ Толковый и засмѣялся. — Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губахъ не обсохло, и кажется тебѣ по глупости, что несчастнѣй тебя человѣка нѣтъ, а придетъ время, самъ скажешь: дай Богъ всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Черезъ недѣлю времени пройдетъ вода и поставимъ тутъ поромъ, вы всѣ пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить отъ берега къ берегу. Ужъ двадцать-два года такъ хожу. День и ночь. Щука и нельма подъ водой, а я надъ водой. И слава Богу. Ничего мнѣ не надо, дай Богъ всякому такой жизни.

Татаринъ подложилъ въ костеръ хворосту, легъ поближе къ огню и сказалъ:

— У меня отецъ хворый человѣкъ. Когда онъ помретъ, мать и жена сюда пріѣдутъ. Обѣщали.

— А на что тебѣ мать и жена? — спросилъ Толковый. — Одна глупость, братъ. Это тебя бѣсъ смущаетъ, язви его душу. Ты его не слушай, проклятаго. Не давай ему воли. Онъ тебѣ насчетъ бабы, а ты ему назло: не желаю! Онъ тебѣ насчетъ воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нѣту ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви ихъ душу!

Толковый потянулъ изъ бутылки и продолжалъ:

— Я, братуша, не мужикъ простой, не изъ хамскаго званія, я дьячковскій сынъ и, когда на волѣ жилъ въ Курскѣ, въ сюртукѣ ходилъ, а теперь довелъ себя до такой точки, что могу голый на замлѣ спать и траву жрать. И дай Богъ всякому такой жизни. Ничего мнѣ не надо и никого я не боюсь, и такъ себя понимаю, что богаче и вольнѣе меня человѣка нѣтъ. Какъ прислали меня сюда изъ Россіи, я съ перваго же дня уперся: ничего не хочу! Бѣсъ мнѣ и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мнѣ не надо! Уперся на своемъ и вотъ, какъ видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто дастъ поблажку бѣсу и хоть разъ послушается, тотъ пропалъ, нѣтъ ему спасенія: завязнетъ въ болотѣ по самую маковку и не вылѣзетъ. Не то, что вашъ братъ, глупый мужикъ, но и благородные и образованные пропадаютъ. Лѣтъ пятнадцать назадъ прислали сюда изъ Россіи одного барина. Съ братьями что-то тамъ не подѣлилъ и въ завѣщаніи фальшь сдѣлалъ какую-то. Сказывали, изъ князей или баро-

новъ, а можетъ и просто изъ чиновниковъ — кто его знаетъ! Ну, пріѣхалъ сюда баринъ и первымъ дѣломъ купилъ себѣ въ Мухортинскомъ домъ и землю. „Хочу, говоритъ, своимъ трудомъ жить, въ потѣ лица, потому что, говоритъ, я теперь не господинъ, а поселенецъ“. Что жъ, говорю, помогай Богъ, дѣло хорошее. Человѣкъ онъ былъ тогда молодой, хлопотунъ, заботливый: самъ и косилъ, бывало, и рыбу ловилъ, и верхомъ верстъ за шестьдесятъ ѣздилъ. Только вотъ бѣда: съ перваго же года сталъ ѣздить въ Гырино, въ почтовую контору. Стоитъ, бывало, у меня на поромѣ и вздыхаетъ: „Эхъ, Семенъ, что-то долго не шлютъ мнѣ изъ дому денегъ!“ Не надо, говорю, Василій Сергѣичъ, денегъ. Къ чему онѣ? Вы старое-то бросьте, забудьте, какъ будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, бѣса, — онъ до добра не доведетъ, въ петлю затянетъ. Теперь вы денегъ желаете, говорю, а пройдетъ мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потомъ и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первѣе всего ничего не желайте. Да... Ужъ ежели, говорю ему, насъ съ вами судьба обидѣла горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей въ ножки, а надо пренебрегать и смѣяться надъ ней. А то она сама насмѣется. Такъ и говорю ему... Года черезъ два перевожу я его на эту сторону, а онъ потираетъ руки и смѣется. „Ѣду, говоритъ, въ Гырино жену встрѣчать. Пожалѣла, говоритъ, меня, пріѣхала. Хорошая она у меня, добрая“. А самъ отъ радости даже запыхался. Вотъ черезъ

день ѣдетъ съ женой. Дама молодая, красивая, въ шляпкѣ; на рукахъ младенчикъ-дѣвочка. И всякаго багажу много. А Василій Сергѣичъ мой вертится около нея, не наглядится и никакъ не нахвалится. „Да, братъ Семенъ, и въ Сибири люди живутъ!“ Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И съ той поры, почитай каждую недѣлю, сталъ онъ въ Гырино навѣдываться: не пришли ли изъ Россіи деньги? Денегъ-то понадобилось пропасть. „Она, говоритъ, ради меня тутъ въ Сибири свою молодость и красоту губитъ и, говоритъ, со мной мою горькую долю дѣлитъ, и черезъ это, говоритъ, я долженъ предоставлять ей всякое удовольствіе“... Чтобъ барынѣ веселѣй было, завелъ онъ знакомство съ чиновниками и съ шушерой всякой. А всю эту компанію, извѣстно, кормить и поить надо, да чтобъ и фортепьянъ былъ и собачка лохматенькая на диванѣ, — чтобъ она издохла... Роскошь, однимъ словомъ, баловство. Прожила съ нимъ барыня недолго. Гдѣ ей? Глина, вода, холодно, ни тебѣ овоща, ни фрукта, кругомъ необразованные да пьяные, никакого обхожденія, а она дама балованная, столичная... Извѣстно, соскучилась. Да и мужъ, какъ ни говори, уже не баринъ, а поселенецъ — не та честь. Года черезъ три, помню, ночью подъ самый Успеньевъ день кричатъ съ того берега. Пошелъ я туда на поромѣ, гляжу — барыня, вся окутавшись, а съ ней молодой господинъ, изъ чиновниковъ... Тройка... Перевезъ я ихъ сюда, сѣли — и поминай, какъ звали! Только мы ихъ и видѣли. А подъ утро Василій Сергѣичъ скачетъ на парѣ. — „Не проѣзжала ли тутъ, Семенъ, моя жена съ господиномъ

въ очкахъ?“ Проѣзжала, говорю, — ищи вѣтра въ полѣ! Поскакалъ онъ вдогонку, сутокъ пять гнался. Когда послѣ перевозилъ я его на ту сторону, онъ повалился на поромъ и давай головой биться о доски и выть. То-то вотъ, говорю, и есть. Смѣюсь и припоминаю ему: „И въ Сибири люди живутъ!“ А онъ еще пуще бьется... Потомъ это захотѣлось ему воли. Жена въ Россію подалась и его, значитъ, туда потянуло, чтобъ ее повидать и отъ полюбовника вызволить. И сталъ онъ, братецъ ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то въ городъ къ начальству. Все прошенія посылалъ и подавалъ, чтобъ его помиловали и назадъ домой вернули, и, сказывалъ онъ, на однѣ телеграммы у него рублей двѣсти пошло... Землю продалъ, домъ жидамъ заложилъ. Самъ посѣдѣлъ, сгорбился, съ лица желтый сталъ, словно чахоточный. Говоритъ съ тобою, а самъ: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазахъ. Промаялся такъ съ прошеніями годовъ восемь, а теперь опять ожилъ и веселый сталъ: новое баловство придумалъ. Дочка, видишь, выросла. Глядитъ на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себѣ: красивенькая, чернобровая и нрава бойкаго. Каждое воскресенье онъ въ Гырино ѣздитъ съ ней въ церковь. Стоятъ оба на поромѣ рядышкомъ, она смѣется, а онъ съ нея глазъ не сводитъ. „Да, говоритъ, Семенъ, и въ Сибири люди живутъ. И въ Сибири бываетъ счастье. Погляди-ка, говоритъ, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верстъ не сыщешь“. Дочка, говорю, хорошая, это вѣрно, дѣйствительно... А самъ про себя думаю: „Ужо погоди... Дѣвка она

молодая, кровь играетъ, жить хочется, а какая тутъ жизнь?“ И стала, братъ, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболѣла и теперь безъ заднихъ ногъ. Чахотка. Вотъ тебѣ и сибирское счастье, язви его душу, вотъ тебѣ и въ Сибири люди живутъ... Сталъ онъ все по докторамъ ѣздить и возить ихъ къ себѣ. Какъ заслышитъ, что верстъ за двѣсти или за триста есть докторъ или знахарь, такъ и ѣдетъ за нимъ... Страсть сколько денегъ на докторовъ ушло, а ужъ по-моему лучше пропить эти деньги... Все равно помретъ. Помретъ она всенепремѣнно, а онъ тогда совсѣмъ пропалъ. Повѣсится съ тоски или въ Россію убѣжитъ — дѣло извѣстное. Убѣжитъ, а его поймаютъ, потомъ судъ, каторга, плетей попробуетъ...

— Хорошо, хорошо, — пробормоталъ татаринъ, пожимаясь отъ озноба.

— Что хорошо? — спросилъ Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, за то онъ видалъ и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила съ нимъ три года — это ему Богъ подарилъ. Ничего — худо, а три года—хорошо. Какъ не понимай?

Дрожа, съ напряженіемъ подбирая русскія слова, которыхъ онъ зналъ немного, и заикаясь, татаринъ заговорилъ о томъ, что не приведи Богъ захворать на чужой сторонѣ, умереть и быть зарытымъ въ холодной ржавой землѣ, что если бы жена пріѣхала къ нему хотя на одинъ день и даже на одинъ часъ, то за такое счастье онъ согласился бы принять какія угодно муки и благодарилъ бы Бога. Лучше одинъ день счастья, чѣмъ ничего.

Затѣмъ онъ опять разсказалъ, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потомъ, взявшись обѣими руками за голову, онъ заплакалъ и сталъ увѣрять Семена, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и терпитъ напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество разсудило не по совѣсти и составило приговоръ, по которому пошли въ Сибирь всѣ три брата, а дядя, богатый человѣкъ, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказалъ Семенъ.

Татаринъ замолчалъ и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумѣніе и испугъ, какъ будто онъ все еще не понималъ, зачѣмъ онъ здѣсь въ темнотѣ и въ сырости, около чужихъ людей, а не въ Симбирской губерніи. Толковый легъ около огня, чему-то усмѣхнулся и затянулъ вполголоса пѣсню.

— Что ей за радость съ отцомъ-то? — проговорилъ онъ, немного погодя. — Онъ ее любитъ, утѣшается, это точно; но, братъ, тоже пальца въ ротъ ему не клади: строгій старикъ, крутой старикъ. А молодымъ дѣвкамъ не строгость нужна... Имъ нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эхъ, дѣла, дѣла! — вздохнулъ Саменъ и тяжело поднялся. — Водка вся вышла, значитъ, спать пора... А? Пойду, братъ...

Оставшись одинъ, татаринъ подложилъ хворосту, легъ и, глядя на огонь, сталъ думать о родной деревнѣ и о своей женѣ; пріѣхала бы жена хоть на мѣсяцъ, хоть на день, а тамъ, если хочетъ, пусть уѣзжаетъ назадъ! Лучше мѣсяцъ или даже день,

чѣмъ ничего. Но если жена сдержитъ обѣщаніе и пріѣдетъ, то чѣмъ ее придется кормить? Гдѣ она будетъ тутъ жить?

— Если нѣтъ чего-чего кушать, то какъ живи? — спросилъ вслухъ татаринъ.

За то, что онъ теперь день и ночь работалъ весломъ, ему платили только десять копеекъ въ сутки; правда, проѣзжіе давали на чай и на водку, но ребята дѣлили весь доходъ между собой, а татарину ничего не давали и только смѣялись надъ нимъ. А отъ нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тѣло болитъ и дрожитъ, пойти въ избушку и лечь спать, но тамъ укрыться нечѣмъ и холоднѣе, чѣмъ на берегу; здѣсь тоже нечѣмъ укрыться, но все же можно хоть костеръ развесть...

Черезъ недѣлю, когда вода совсѣмъ спадетъ и поставятъ тутъ поромъ, всѣ перевозчики, кромѣ Семена, станутъ уже не нужны, и татаринъ начнетъ ходить изъ деревни въ деревню и просить милостыни и работы. Женѣ только семнадцать лѣтъ; она красивая, избалованная, застѣнчивая, — неужели и она будетъ ходить по деревнямъ съ открытымъ лицомъ и просить милостыню? Нѣтъ, объ этомъ даже подумать страшно...

Уже свѣтало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на водѣ и зыбь, а назадъ оглянуться — тамъ глинистый обрывъ, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лѣпятся деревенскія избы... На деревнѣ уже пѣли пѣтухи...

Рыжій глинистый обрывъ, баржа, рѣка, чужіе, недобрые люди, голодъ, холодъ, болѣзни — быть-

можетъ, всего этого нѣтъ на самомъ дѣлѣ. Вѣроятно, все это только снится, — думалъ татаринъ. Онъ чувствовалъ, что спитъ, и слышалъ свой храпъ... Конечно, онъ дома, въ Симбирской губерніи, и стоитъ ему только назвать жену по имени, какъ она откликнется; а въ сосѣдней комнатѣ мать... Однако, какіе бываютъ страшные сны! Къ чему они? Татаринъ улыбнулся и открылъ глаза. Какая это рѣка? Волга?

Шелъ снѣгъ.

— Подава-ай! — кричалъ кто-то на той сторонѣ. — Карба-а-асъ!

Татаринъ очнулся и пошелъ будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надѣвая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонокъ голосами и пожимаясь отъ холода, показались на берегу перевозчики. Послѣ сна рѣка, отъ которой вѣяло пронизывающимъ холодомъ, повидимому, казалась имъ отвратительной и жуткой. Не спѣша попрыгали они въ карбасъ... Татаринъ и три перевозчика взялись за длинныя весла съ широкими лопастями, похожія въ потемкахъ на рачьи клешни, Семенъ навалился животомъ на длинный руль. А на той сторонѣ все еще продолжали кричать и два раза выстрѣлили изъ револьвера, думая, вѣроятно, что перевозчики спятъ или ушли на деревню, въ кабакъ.

— Ладно, успѣешь! — проговорилъ Толковый тономъ человѣка, убѣжденнаго, что на этомъ свѣтѣ нѣтъ надобности спѣшить — все равно, молъ, толку не выйдетъ.

Тяжелая неуклюжая баржа отдѣлилась отъ бе-

рега и поплыла межъ кустовъ тальника, и только по тому, что тальникъ медленно уходилъ назадъ, замѣтно было, что она не стояла на одномъ мѣстѣ, а двигалась. Перевозчики мѣрно, въ разъ, взмахивали веслами; Толковый лежалъ животомъ на рулѣ и, описывая во воздухѣ дугу, леталъ съ одного борта на другой. Было въ потемкахъ похоже на то, какъ будто люди сидѣли на какомъ-то допотопномъ животномъ съ длинными лапами и уплывали на немъ въ холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальникъ, выплыли на просторъ. На томъ берегу уже заслышали стукъ и мѣрное плесканье веселъ и кричали: „Скорѣй! скорѣй!“ Прошло еще минутъ съ десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплетъ, и все оно сыплетъ! — бормоталъ Семенъ, вытирая съ лица снѣгъ. — И откуда оно берется, Богъ его знаетъ!

На той сторонѣ ждалъ худощавый, невысокаго роста старикъ въ полушубкѣ на лисьемъ мѣху и въ бѣлой мерлушковой шапкѣ. Онъ стоялъ поодаль отъ лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выраженіе, какъ будто онъ старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семенъ подошелъ къ нему и, улыбаясь, снялъ шапку, то онъ сказалъ:

— Спѣшу въ Анастасьевку. Дочери опять хуже, а въ Анастасьевку, говорятъ, новаго доктора назначили.

Вташили тарантасъ на баржу и поплыли назадъ.

Человѣкъ, котораго Семенъ назвалъ Василіемъ Сергѣевичемъ, все время, пока плыли, стоялъ неподвижно, крѣпко сжавъ свои толстыя губы и глядя въ одну точку; когда ямщикъ попросилъ у него позволенія покурить въ его присутствіи, онъ ничего не отвѣтилъ, точно не слышалъ. А Семенъ, лежа животомъ на рулѣ, насмѣшливо глядѣлъ на него и говорилъ:

— И въ Сибири люди живутъ. Живу-утъ!

На лицѣ у Толковаго было торжествующее выраженіе, какъ будто онъ что-то доказалъ и будто радовался, что вышло именно такъ, какъ онъ предполагалъ. Несчастный, безпомощный видъ человѣка въ полушубкѣ на лисьемъ мѣху, повидимому, доставлялъ ему большое удовольствіе.

— Грязно теперь ѣхать, Василій Сергѣичъ, — сказалъ онъ, когда на берегу запрягали лошадей. — Погодили бы ѣздить еще недѣльки двѣ, пока суше станетъ. А то и вовсе бы не ѣздили... Ежели бы толкъ какой отъ ѣзды былъ, а то, сами изволите знать, люди вѣки вѣчные ѣздятъ, и днемъ и ночью, а все никакого толку. Право!

Василій Сергѣичъ молча далъ на водку, сѣлъ въ тарантасъ и поѣхалъ дальше.

— Вотъ, за докторомъ поскакалъ! — сказалъ Семенъ, пожимаясь отъ холода. — Да, ищи настоящаго доктора, догоняй вѣтра въ полѣ, хватай чорта за хвостъ, язви твою душу! Экіе чудаки, Господи, прости меня, грѣшнаго!

Татаринъ подошелъ къ Толковому и, глядя на него съ ненавистью и съ отвращеніемъ, дрожа и

примѣшивая къ своей ломаной рѣчи татарскія слова, заговорилъ:

— Онъ хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Баринъ хорошая душа, отличный, а ты звѣрь, ты худо! Баринъ живой, а ты дохлый... Богъ создалъ человѣка, чтобъ живой былъ, чтобъ и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значитъ, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебѣ ничего... Ты камень — и Богъ тебя не любитъ, а барина любитъ!

Всѣ засмѣялись; татаринъ брезгливо поморщился, махнулъ рукой и, кутаясь въ свои лохмотья, пошелъ къ костру. Перевозчики и Семенъ поплелись въ избушку.

— Холодно! — прохрипѣлъ одинъ перевозчикъ, растягиваясь на соломѣ, которою былъ покрытъ сырой глинистый полъ.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Всѣ улеглись. Дверь отворилась отъ вѣтра и въ избушку понесло снѣгомъ. Встать и затворить дверь никому не хотѣлось: было холодно и лѣнь.

— А мнѣ хорошо! — проговорилъ Семенъ засыпая. — Дай Богъ всякому такой жизни.

— Ты, извѣстно, семикаторжный. Тебя и черти не берутъ.

Со двора послышались звуки, похожіе на собачій вой.

— Что это? Кто это тамъ?

— Это татаринъ плачетъ.

— Ишь ты... Чудакъ!

— Привы-ыкнетъ! — сказалъ Семенъ и тотчасъ же заснулъ.

Скоро заснули и остальные. А дверь такъ и осталась не затворенной.

Скрипка Ротшильда.

Городокъ былъ маленькій, хуже деревни, и жили въ немъ почти одни только старики, которые умирали такъ рѣдко, что даже досадно. Въ больницу же и въ тюремный замокъ гробовъ требовалось очень мало. Однимъ словомъ, дѣла были скверныя... Если бы Яковъ Ивановъ былъ гробовщикомъ въ губернскомъ городѣ, то, навѣрное, онъ имѣлъ бы собственный домъ и звали бы его Яковомъ Матвѣичемъ; здѣсь же въ городишкѣ звали его просто Яковомъ, уличное прозвище у него было почему-то — Бронза, а жилъ онъ бѣдно, какъ простой мужикъ, въ небольшой старой избѣ, гдѣ была одна только комната, и въ этой комнатѣ помѣщались онъ, Марѳа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстакъ и все хозяйство.

Яковъ дѣлалъ гробы хорошіе, прочные. Для мужиковъ и мѣщанъ онъ дѣлалъ ихъ на свой ростъ и ни разу не ошибся, такъ какъ выше и крѣпче его не было людей нигдѣ, даже въ тюремномъ замкѣ, хотя ему было уже семьдесятъ лѣтъ. Для благородныхъ же и для женщинъ дѣлалъ по мѣркѣ и употреблялъ для этого желѣзный аршинъ. Заказы на дѣтскіе гробики принималъ онъ очень неохотно и дѣлалъ ихъ прямо безъ мѣрки, съ презрѣніемъ, и всякій разъ, получая деньги за работу, говорилъ:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кромѣ мастерства, небольшой доходъ приносила ему также игра на скрипкѣ. Въ городкѣ на свадьбахъ игралъ обыкновенно жидовскій оркестръ, которымъ управлялъ лудильщикъ Моисей Ильичъ Шахкесъ, бравшій себѣ больше половины дохода. Такъ какъ Яковъ очень хорошо игралъ на скрипкѣ, особенно русскія пѣсни, то Шахкесъ иногда приглашалъ его въ оркестръ съ платою по пятьдесятъ копеекъ въ день, не считая подарковъ отъ гостей. Когда Бронза сидѣлъ въ оркестрѣ, то у него прежде всего потѣло и багровѣло лицо; было жарко, пахло чеснокомъ до духоты, скрипка взвизгивала, у праваго уха хрипѣлъ контрабасъ, у лѣваго — плакала флейта, на которой игралъ рыжій тощій жидъ съ цѣлою сѣтью красныхъ и синихъ жилокъ на лицѣ, носившій фамилію извѣстнаго богача Ротшильда. И этотъ проклятый жидъ даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Безъ всякой видимой причины Яковъ мало-по-малу проникался ненавистью и презрѣніемъ къ жидамъ, а особенно къ Ротшильду; онъ начиналъ придираться, бранить его нехорошими словами и разъ даже хотѣлъ побить его, и Ротшильдъ обидѣлся и проговорилъ, глядя на него свирѣпо:

— Если бы я не уважалъ васъ за талантъ, то вы бы давно полетѣли у меня въ окошко.

Потомъ заплакалъ. Поэтому Бронзу приглашали въ оркестръ не часто, только въ случаѣ крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь изъ евреевъ.

Яковъ никогда не бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, такъ какъ ему постоянно приходилось

терпѣть страшные убытки. Напримѣръ, въ воскресенья и въ праздники грѣшно было работать, понедѣльникъ — тяжелый день, и такимъ образомъ въ году набиралось около двухсотъ дней, когда поневолѣ приходилось сидѣть сложа руки. А вѣдь это какой убытокъ! Если кто-нибудь въ городѣ игралъ свадьбу безъ музыки или Шахкесъ не приглашалъ Якова, то это тоже былъ убытокъ. Полицейскій надзиратель былъ два года боленъ и чахнулъ, и Яковъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда онъ умретъ, но надзиратель уѣхалъ въ губернскій городъ лѣчиться и взялъ да тамъ и умеръ. Вотъ вамъ и убытокъ, по меньшей мѣрѣ рублей на десять, такъ какъ гробъ пришлось бы дѣлать дорогой, съ глазетомъ. Мысли объ убыткахъ донимали Якова особенно по ночамъ; онъ клалъ рядомъ съ собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лѣзла въ голову, трогалъ струны, скрипка въ темнотѣ издавала звукъ, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлаго года Марѳа вдругъ занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утромъ сама истопила печь и даже ходила по воду. Къ вечеру же слегла. Яковъ весь день игралъ на скрипкѣ; когда же совсѣмъ стемнѣло, взялъ книжку, въ которую каждый день записывалъ свои убытки, и отъ скуки сталъ подводить годовой итогъ. Получилось больше тысячи рублей. Это такъ потрясло его, что онъ хватилъ счетами о полъ и затопалъ ногами. Потомъ поднялъ счеты и опять долго щелкалъ и глубоко, напряженно вздыхалъ. Лицо у него было багрово и мокро отъ пота. Онъ думалъ о томъ, что если бы

эту пропащую тысячу рублей положить въ банкъ, то въ годъ проценту накопилось бы самое малое — сорокъ рублей. Значитъ, и эти сорокъ рублей тоже убытокъ. Однимъ словомъ, куда ни повернись, вездѣ только убытки и больше ничего.

— Яковъ! — позвала Марѳа неожиданно. — Я умираю!

Онъ оглянулся на жену. Лицо у нея было розовое отъ жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкшій всегда видѣть ея лицо блѣднымъ, робкимъ и несчастнымъ, теперь смутился. Похоже было на то, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ умирала и была рада, что, наконецъ, уходитъ навѣки изъ этой избы, отъ гробовъ, отъ Якова... И она глядѣла въ потолокъ и шевелила губами, и выраженіе у нея было счастливое, точно она видѣла смерть, свою избавительницу, и шепталась съ ней.

Былъ уже разсвѣтъ, въ окно видно было, какъ горѣла утренняя заря. Глядя на старуху, Яковъ почему-то вспомнилъ, что за всю свою жизнь онъ, кажется, ни разу не приласкалъ ея, не пожалѣлъ, ни разу не догадался купить ей платочекъ, или принести со свадьбы чего-нибудь сладенькаго, а только кричалъ на нее, бранилъ за убытки, бросался на нее съ кулаками; правда, онъ никогда не билъ ея, но все-таки пугалъ, и она всякій разъ цѣпенѣла отъ страха. Да, онъ не велѣлъ ей пить чай, потому что и безъ того расходы большіе, и она пила только горячую воду. И онъ понялъ, отчего у нея теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, онъ взялъ у сосѣда лошадь

и повезъ Марѳу въ больницу. Тутъ больныхъ было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. Къ его великому удовольствію, въ этотъ разъ принималъ больныхъ не докторъ, который самъ былъ боленъ, а фельдшеръ Максимъ Николаичъ, старикъ, про котораго всѣ въ городѣ говорили, что хотя онъ и пьющій и дерется, но понимаетъ больше, чѣмъ докторъ.

— Здравія желаемъ, – сказалъ Яковъ, вводя старуху въ пріемную.—Извините, все безпокоимъ васъ, Максимъ Николаичъ, своими пустяшными дѣлами. Вотъ, изволите видѣть, захворалъ мой предметъ. Подруга жизни, какъ это говорится, извините за выраженіе...

Нахмуривъ сѣдыя брови и поглаживая бакены, фельдшеръ сталъ оглядывать старуху, а она сидѣла на табуретѣ сгорбившись и тощая, остроносая, съ открытымъ ртомъ походила въ профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Такъ... — медленно проговорилъ фельдшеръ и вздохнулъ. — Инфлуэнца, а можетъ и горячка. Теперь по городу тифъ ходитъ... Что жъ? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

— Да безъ года семьдесятъ, Максимъ Николаичъ.

— Что жъ? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили замѣтить, Максимъ Николаичъ, — сказалъ Яковъ, улыбаясь изъ вѣжливости, — и чувствительно васъ благодаримъ за вашу пріятность, но позвольте вамъ выразиться, всякому насѣкомому жить хочется

— Мало ли чего!—сказалъ фельдшеръ такимъ тономъ, какъ будто отъ него зависѣло жить старухѣ или умереть. — Ну, такъ вотъ, любезный, бу-

дешь прикладывать ей на голову холодный компрессъ и давай вотъ эти порошки по два въ день. А за симъ до свиданья...

По выраженію его лица Яковъ видѣлъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Мареа помретъ очень скоро, не сегодня завтра... Онъ слегка толкнулъ фельдшера подъ локоть, подмигнулъ глазомъ и сказалъ вполголоса:

— Ей бы, Максимъ Николаичъ, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи съ Богомъ.

— Сдѣлайте такую милость,—взмолился Яковъ.— Сами изволите знать, если бъ у нея, скажемъ, животъ болѣлъ, или какая внутренность, ну тогда порошки и капли, а то вѣдь въ ней простуда! При простудѣ первое дѣло — кровь гнать, Максимъ Николаичъ.

А фельдшеръ уже вызвалъ слѣдующаго больного, и въ пріемную входила баба съ мальчикомъ.

— Ступай, ступай... — сказалъ онъ Якову хмурясь. — Нечего тѣнь наводить.

— Въ такомъ случаѣ поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вѣчно Бога молить!

Фельдшеръ вспылилъ и крикнулъ:

— Поговори мнѣ еще!

Яковъ тоже вспылилъ и побагровѣлъ весь, но не сказалъ ни слова, а взялъ подъ руку Мареу и повелъ ее изъ пріемной. Только когда ужъ садились въ телѣгу, онъ сурово и насмѣшливо поглядѣлъ на больницу и сказалъ:

— Насажали васъ тутъ артистовъ! Богатому не-

бось поставилъ бы банки, а для бѣднаго человѣка и одной пьявки пожалѣлъ! Ироды!

Когда пріѣхали домой, Марѳа, войдя въ избу, минутъ десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжетъ, то Яковъ будетъ говорить объ убыткахъ и бранить ее за то, что она все лежитъ и не хочетъ работать. А Яковъ глядѣлъ на нее со скукой и вспоминалъ, что завтра Іоанна Богослова, послѣ завтра Николая чудотворца, а потомъ воскресенье, потомъ понедѣльникъ — тяжелый день. Четыре дня нельзя будетъ работать, а навѣрное Марѳа умретъ въ какой-нибудь изъ этихъ дней; значитъ, гробъ надо дѣлать сегодня. Онъ взялъ свой желѣзный аршинъ, подошелъ къ старухѣ и снялъ съ нея мѣрку. Потомъ она легла, а онъ перекрестился и сталъ дѣлать гробъ.

Когда работа была кончена, Бронза надѣлъ очки и записалъ въ свою книжку:

„Марѳѣ Ивановой гробъ — 2 р. 40 к.“.

И вздохнулъ. Старуха все время лежала молча съ закрытыми глазами. Но вечеромъ, когда стемнѣло, она вдругъ позвала старика.

— Помнишь, Яковъ? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесятъ лѣтъ назадъ намъ Богъ далъ ребеночка съ бѣлокурыми волосиками? Мы съ тобой тогда все на рѣчкѣ сидѣли и пѣсни пѣли... подъ вербой. — И, горько усмѣхнувшись, она добавила: — Умерла дѣточка.

Яковъ напрягъ память, но никакъ не могъ вспомнить ни ребеночка ни вербы.

— Это тебѣ мерещится, — сказалъ онъ.

Приходилъ батюшка, пріобщалъ и соборовалъ.

Потомъ Марѳа стала бормотать что-то непонятное и къ утру скончалась.

Старухи-сосѣдки обмыли, одѣли и въ гробъ положили. Чтобы не платить лишняго дьячку, Яковъ самъ читалъ псалтырь, и за могилку съ него ничего не взяли, такъ какъ кладбищенскій сторожъ былъ ему кумъ. Четыре мужика несли до кладбища гробъ, но не за деньги, а изъ уваженія. Шли за гробомъ старухи, нищіе, двое юродивыхъ, встрѣчный народъ набожно крестился... И Яковъ былъ очень доволенъ, что все такъ честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь въ послѣдній разъ съ Марѳой, онъ потрогалъ рукой гробъ и подумалъ: „Хорошая работа!“

Но когда онъ возвращался съ кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыханіе было горячее и тяжкое, ослабѣли ноги, тянуло къ питью... А тутъ еще полѣзли въ голову всякія мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь онъ ни разу не пожалѣлъ Марѳы, не приласкалъ... Пятьдесятъ-два года, пока они жили въ одной избѣ, тянулись долго-долго, но какъ-то такъ вышло, что за все это время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниманія, какъ будто она была кошка или собака. А вѣдь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала съ нимъ на одной кровати, а когда онъ возвращался пьяный со свадебъ, она всякій разъ съ благоговѣніемъ вѣшала его скрипку на стѣну и укладывала его спать и все это молча, съ робкимъ, заботливымъ выраженіемъ. Теперь бы онъ и не прочь былъ пожалѣть, ку-

пить ей чего-нибудь, да ужъ поздно, не воротишь...

Навстрѣчу Якову, улыбаясь и кланяясь, шелъ Ротшильдъ.

— А я васъ ищу, дяденька! — сказалъ онъ. — Кланялись вамъ Мойсей Ильичъ и велѣли вамъ зáразъ приходить къ нимъ.

Якову было не до того. Ему хотѣлось плакать.

— Отстань! — сказалъ онъ и пошелъ дальше.

— А какъ же это можно? — встревожился Ротшильдъ, забѣгая впередъ. — Мойсей Ильичъ будутъ обижаться! Они велѣли зáразъ!

Якову показалось противно, что жидъ запыхался, моргаетъ и что у него такъ много рыжихъ веснушекъ. И было гадко глядѣть на его зеленый сюртукъ съ темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лѣзешь ко мнѣ, чеснокъ? — крикнулъ Яковъ. — Не приставай!

Жидъ разсердился и тоже крикнулъ:

— Но вы пожалуста потише, а то вы у меня черезъ заборъ полетите!

— Прочь съ глазъ долой! — заревѣлъ Яковъ и бросился на него съ кулаками. — Прочь, харя, а то я изъ тебя поганую душу вышибу! Житья нѣтъ отъ пархатыхъ!

Ротшильдъ помертвѣлъ отъ страха, присѣлъ и замахалъ руками надъ головой, какъ бы защищаясь отъ ударовъ, потомъ вскочилъ и побѣжалъ прочь что есть духу. На бѣгу онъ подпрыгивалъ, всплескивалъ руками, и видно было, какъ вздрагивала его длинная тощая спина. Мальчишки об-

радовались случаю и бросились за нимъ съ крикомъ: „Жидъ! Жидъ!“ Собаки тоже погнались за нимъ съ лаемъ. Кто-то захохоталъ, потомъ свистнулъ, собаки залаяли громче и дружнѣе... Затѣмъ, должно-быть, собака укусила Ротшильда, такъ какъ послышался отчаянный, болѣзненный крикъ.

Яковъ погулялъ по выгону, потомъ пошелъ по краю города, куда глаза глядятъ, и мальчишки кричали: „Бронза идетъ! Бронза идетъ!“ — А вотъ и рѣка. Тутъ съ пискомъ носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и отъ воды шло такое сверканье, что было больно смотрѣть. Яковъ прошелся по тропинкѣ вдоль берега и видѣлъ, какъ изъ купальни вышла полная краснощекая дама, и подумалъ про нее: „Ишь ты, выдра!“ Недалеко отъ купальни мальчишки ловили на мясо раковъ; увидѣвъ его, они стали кричать со злобой: „Бронза! Бронза!“ А вотъ широкая старая верба съ громаднымъ дупломъ, а на ней вороньи гнѣзда... И вдругъ въ памяти Якова, какъ живой, выросъ младенчикъ съ бѣлокурыми волосами и верба, про которую говорила Мареа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Какъ она постарѣла, бѣдная!

Онъ сѣлъ подъ нее и сталъ вспоминать. На томъ берегу, гдѣ теперь заливной лугъ, въ ту пору стоялъ крупный березовый лѣсъ, а вонъ на той лысой горѣ, что виднѣется на горизонтѣ, тогда синѣлъ старый-старый сосновый боръ. По рѣкѣ ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на томъ берегу стоитъ одна только березка, молоденькая и стройная, какъ барышня, а на рѣкѣ только

утки да гуси, и не похоже, чтобы здѣсь когда-нибудь ходили барки. Кажется, противъ прежняго и гусей стало меньше. Яковъ закрылъ глаза, и въ воображеніи его одно навстрѣчу другому понеслись громадныя стада бѣлыхъ гусей.

Онъ недоумѣвалъ, какъ это вышло такъ, что за послѣднія сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ своей жизни онъ ни разу не былъ на рѣкѣ, а если, можетъ, и былъ, то не обратилъ на нее вниманія? Вѣдь рѣка порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбныя ловли, а рыбу продавать купцамъ, чиновникамъ и буфетчику на станціи и потомъ класть деньги въ банкъ; можно было бы плавать въ лодкѣ отъ усадьбы къ усадьбѣ и играть на скрипкѣ, и народъ всякаго званія платилъ бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чѣмъ гробы дѣлать; наконецъ, можно было бы разводить гусей, бить ихъ и зимой отправлять въ Москву; небось одного пуху въ годъ набралось бы рублей на десять. Но онъ прозѣвалъ, ничего этого не сдѣлалъ. Какіе убытки! Ахъ, какіе убытки! А если бы все вмѣстѣ — и рыбу ловить, и на скрипкѣ играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капиталъ! Но ничего этого не было даже во снѣ, жизнь прошла безъ пользы, безъ всякаго удовольствія, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назадъ — тамъ ничего, кромѣ убытковъ, и такихъ страшныхъ, что даже ознобъ беретъ. И почему человѣкъ не можетъ жить такъ, чтобы не было этихъ потерь и убытковъ? Спрашивается, зачѣмъ срубили березнякъ и сосно-

вый боръ? Зачѣмъ даромъ гуляетъ выгонъ? Зачѣмъ люди дѣлаютъ всегда именно не то, что нужно? Зачѣмъ Яковъ всю свою жизнь бранился, рычалъ, бросался съ кулаками, обижалъ свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугалъ и оскорбилъ жида? Зачѣмъ вообще люди мѣшаютъ жить другъ другу? Вѣдь отъ этого какіе убытки! Какіе страшные убытки! Если бы небыло ненависти и злобы, люди имѣли бы другъ отъ друга громадную пользу.

Вечеромъ и ночью мерещились ему младенчикъ, верба, рыба, битые гуси, и Марѳа, похожая въ профиль на птицу, которой хочется пить, и блѣдное, жалкое лицо Ротшильда, и какія-то морды надвигались со всѣхъ сторонъ и бормотали про убытки. Онъ ворочался съ боку на бокъ и разъ пять вставалъ съ постели, чтобы поиграть на скрипкѣ.

Утромъ черезъ силу поднялся и пошелъ въ больницу. Тотъ же Максимъ Николаичъ приказалъ ему прикладывать къ головѣ холодный компрессъ, далъ порошки, и по выраженію его лица и по тону Яковъ понялъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь. Идя потомъ домой, онъ соображалъ, что отъ смерти будетъ одна только польза: не надо ни ѣсть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а такъ какъ человѣкъ лежитъ въ могилкѣ не одинъ годъ, а сотни, тысячи лѣтъ, то, если сосчитать, польза окажется громадная. Отъ жизни человѣку—убытокъ, а отъ смерти—польза. Это соображеніе, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачѣмъ на свѣтѣ такой странный порядокъ, что жизнь, которая дается человѣку только одинъ разъ, проходитъ безъ пользы?

Не жалко было умирать, но какъ только дома онъ увидѣлъ скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять съ собой въ могилу, и теперь она останется сиротой и съ нею случится то же, что съ березнякомъ и съ сосновымъ боромъ. Все на этомъ свѣтѣ пропадало и будетъ пропадать! Яковъ вышелъ изъ избы и сѣлъ у порога, прижимая къ груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, онъ заигралъ, самъ не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекамъ. И чѣмъ крѣпче онъ думалъ, тѣмъ печальнѣе пѣла скрипка.

Скрипнула щеколда разъ-другой, и въ калиткѣ показался Ротшильдъ. Половину двора прошелъ онъ смѣло, но, увидѣвъ Якова, вдругъ остановился, весь съежился и, должно-быть отъ страха, сталъ дѣлать руками такіе знаки, какъ будто хотѣлъ показать на пальцахъ, который теперь часъ,

— Подойди, ничего! — сказалъ ласково Яковъ и манилъ его къ себѣ. — Подойди!

Глядя недовѣрчиво и со страхомъ, Ротшильдъ сталъ подходить и остановился отъ него на сажень.

— А вы, сдѣлайте милость, не бейте меня! — сказалъ онъ, присѣдая. — Меня Мойсей Ильичъ опять послали. Не бойся, говорятъ, поди опять до Якова и скажи, говорятъ, что безъ ихъ никакъ невозможно. Въ среду свадьба... Да-а! Господинъ Шаповаловъ выдаютъ дочку за хорошаго человѣка... И свадьба будетъ богатая, у-у! — добавилъ жидъ и прищурилъ одинъ глазъ.

— Не могу... — проговорилъ Яковъ, тяжело дыша. — Захворалъ, братъ...

И опять заигралъ, и слезы брызнули изъ глазъ на скрипку. Ротшильдъ внимательно слушалъ, ставши къ нему бокомъ и скрестивъ на груди руки. Испуганное, недоумѣвающее выраженіе на его лицѣ мало-по-малу смѣнилось скорбнымъ и страдальческимъ, онъ закатилъ глаза, какъ бы испытывая мучительный восторгъ, и проговорилъ: „Ваххх!..“ И слезы медленно потекли у него по щекамъ и закапали на зеленый сюртукъ.

И потомъ весь день Яковъ лежалъ и тосковалъ. Когда вечеромъ батюшка, исповѣдуя, спросилъ его, не помнитъ ли онъ за собою какого-нибудь особеннаго грѣха, то онъ, напрягая слабѣющую память, вспомнилъ опять несчастное лицо Марѳы и отчаянный крикъ жида, котораго укусила собака, и сказалъ едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо, — отвѣтилъ батюшка.

И теперь въ городѣ всѣ спрашиваютъ: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купилъ онъ ее или укралъ, или, быть-можетъ, она попала къ нему въ закладъ? Онъ давно уже оставилъ флейту и играетъ теперь только на скрипкѣ. Изъ-подъ смычка у него льются такіе же жалобные звуки, какъ въ прежнее время изъ флейты, но когда онъ старается повторить то, что игралъ Яковъ, сидя на порогѣ, то у него выходитъ нѣчто такое унылое и скорбное, что слушатели плачутъ, и самъ онъ подъ конецъ закатываетъ глаза и говоритъ: „Ваххх!..“ И эта новая пѣсня такъ понравилась въ городѣ, что Ротшильда приглашаютъ къ себѣ наперерывъ купцы и чиновники и заставляютъ играть ее по десяти разъ.

Володя большой и Володя маленькій.

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядомъ съ ямщикомъ! — говорила громко Софья Львовна. — Ямщикъ, погоди, я сяду съ тобой на козлы.

Она стояла въ санях, а ея мужъ Владимиръ Никитычъ и другъ дѣтства Владимиръ Михайловичъ держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорилъ, не слѣдовало давать ей коньяку,— шепнулъ съ досадой Владимиръ Никитичъ своему спутнику. — Экій ты, право!

Полковникъ зналъ по опыту, что у такихъ женщинъ, какъ его жена Софья Львовна, вслѣдъ за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступаетъ истерическій смѣхъ и потомъ плачъ. Онъ боялся, что теперь, когда они пріѣдутъ домой, ему, вмѣсто того, чтобы спать, придется возиться съ компрессами и каплями.

— Тпрр! — кричала Софья Львовна. — Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. Въ

послѣдніе два мѣсяца, съ самаго дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и par dépit; сегодня же въ загородномъ ресторанѣ она убѣдилась, наконецъ, что любитъ его страстно. Несмотря на свои пятьдесятъ-четыре года, онъ былъ такъ строенъ, ловокъ, гибокъ, такъ мило каламбурилъ и подпѣвалъ цыганкамъ. Право, теперь старики въ тысячу разъ интереснѣе молодыхъ, и похоже на то, какъ будто старость и молодость помѣнялись своими ролями. Полковникъ старше ея отца на два года, но можетъ ли это обстоятельство имѣть какое-нибудь значеніе, если, говоря по совѣсти, жизненной силы, бодрости и свѣжести въ немъ неизмѣримо больше, чѣмъ въ ней самой, хотя ей только двадцать-три года?

„О, мой милый! — думала она. — Чудный!“

Въ ресторанѣ также она убѣдилась, что отъ прежняго чувства въ ея душѣ не осталось даже искры. Къ другу дѣтства Владимиру Михайловичу или, попросту, Володѣ, котораго она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаянія, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечеръ онъ казался ей вялымъ, сонным, неинтереснымъ, ничтожнымъ, и его хладнокровіе, съ какимъ онъ обыкновенно уклоняется отъ платежа по ресторанным счетамъ, на этотъ разъ возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: „Если вы бѣдный, то сидите дома“. Платилъ одинъ только полковникъ.

Оттого, быть-можетъ, что въ глазахъ у нея мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самыя разнообразныя мысли приходили ей въ голову.

Она думала: „По счету въ ресторанѣ уплачено сто-двадцать и цыганамъ — сто, и завтра она, если захочетъ, можетъ бросить на вѣтеръ хоть тысячу рублей, а два мѣсяца назадъ, до свадьбы, у нея не было и трехъ рублей собственныхъ, и за каждымъ пустякомъ приходилось обращаться къ отцу. Какая перемѣна въ жизни!“

Мысли у нея путались, и она вспоминала, какъ полковникъ Ягичъ, ея теперешній мужъ, когда ей было лѣтъ десять, ухаживалъ за тетей, и всѣ въ домѣ говорили, что онъ погубилъ ее, и въ самомъ дѣлѣ тетя часто выходила къ обѣду съ заплаканными глазами и все куда-то уѣзжала, и говорили про нее, что она, бѣдняжка, не находитъ себѣ мѣста. Онъ былъ тогда очень красивъ и имѣлъ необычайный успѣхъ у женщинъ, такъ что его зналъ весь городъ, и разсказывали про него, будто онъ каждый день ѣздилъ съ визитами къ своимъ поклонницамъ, какъ докторъ къ больнымъ. И теперь, даже несмотря на сѣдину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно въ профиль, кажется прекраснымъ.

Отецъ Софьи Львовны былъ военнымъ докторомъ и служилъ когда-то въ одномъ полку съ Ягичемъ. Отецъ Володи тоже былъ военнымъ докторомъ и тоже служилъ когда-то въ одномъ полку съ ея отцомъ и съ Ягичемъ. Несмотря на любовныя приключенія, часто очень сложныя и безпокойныя, Володя учился прекрасно: онъ кончилъ курсъ въ университетѣ съ большимъ успѣхомъ и теперь избралъ своею спеціальностью иностранную литературу и, какъ говорятъ, пишетъ диссертацію.

Живетъ онъ въ казармахъ, у своего отца, военнаго доктора, и не имѣетъ собственныхъ денегъ, хотя ему уже тридцать лѣтъ. Въ дѣтствѣ Софья Львовна и онъ жили въ разныхъ квартирахъ, но подъ одною крышей, и онъ часто приходилъ къ ней играть, и ихъ вмѣстѣ учили танцовать и говорить по-французски; но когда онъ выросъ и сдѣлался стройнымъ, очень красивымъ юношей, она стала стыдиться его, потомъ полюбила безумно и любила до послѣдняго времени, пока не вышла за Ягича. Онъ тоже имѣлъ необыкновенный успѣхъ у женщинъ, чуть ли не съ четырнадцати лѣтъ, и дамы, которыя для него измѣняли своимъ мужьямъ, оправдывались тѣмъ, что Володя маленькій. Про него недавно кто-то разсказывалъ, будто бы онъ, когда былъ студентомъ, жилъ въ номерахъ, поближе къ университету, и всякій разъ, бывало, какъ постучишься къ нему, то слышались за дверью его шаги и затѣмъ извиненіе вполголоса: „Pardon, je ne suis pas seul“. Ягичъ приходилъ отъ него въ восторгъ и благословлялъ его на дальнѣйшее, какъ Державинъ Пушкина, и, повидимому, любилъ его. Оба они по цѣлымъ часамъ молча играли на бильярдѣ или въ пикетъ, и если Ягичъ ѣхалъ куда-нибудь на тройкѣ, то бралъ съ собою и Володю, и въ тайны своей диссертаціи Володя посвящалъ только одного Ягича. Въ первое время, когда полковникъ былъ помоложе, они часто попадали въ положеніе соперниковъ, но никогда не ревновали другъ къ другу. Въ обществѣ, гдѣ они бывали вмѣстѣ, Ягича прозвали Володей большимъ, а его друга — Володей маленькимъ.

Въ саняхъ, кромѣ Володи большого, Володи маленькаго и Софьи Львовны, находилась еще одна особа — Маргарита Александровна, или, какъ ее всѣ звали, Рита, кузина госпожи Ягичъ, дѣвушка уже за тридцать, очень блѣдная, съ черными бровями, въ pince-nez, курившая папиросы безъ передышки, даже на сильномъ морозѣ; всегда у нея на груди и на колѣняхъ былъ пепелъ. Она говорила въ носъ, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньякъ, сколько угодно, и не пьянѣла, и двусмысленные анекдоты разсказывала вяло, безвкусно. Дома она отъ утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая ихъ пепломъ, или кушала мороженыя яблоки.

— Соня, перестань бѣситься! — сказала она нараспѣвъ. — Право, глупо даже.

Въ виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирѣла, прижалась къ мужу и вся отдалась своимъ мыслямъ. Володя маленькій сидѣлъ противъ. Теперь уже къ веселымъ, легкимъ мыслямъ стали примѣшиваться и мрачныя. Она думала: этому человѣку, который сидитъ противъ, было извѣстно, что она его любила, и онъ, конечно, вѣрилъ разговорамъ, что она вышла за полковника par dépit. Она еще ни разу не признавалась ему въ любви и не хотѣла, чтобы онъ зналъ, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что онъ превосходно понималъ ее — и самолюбіе ея страдало. Но въ ея положеніи унизительнѣе всего было то, что послѣ свадьбы этотъ Володя маленькій вдругъ сталъ обращать на нее вниманіе, чего раньше никогда не

бывало, просиживалъ съ ней по цѣлымъ часамъ молча или болтая о пустякахъ, и теперь въ саняхъ, не разговаривая съ нею, онъ слегка наступалъ ей на ногу и пожималъ руку; очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замужъ; и очевидно было, что онъ презираетъ ее, и что она возбуждаетъ въ немъ интересъ лишь извѣстнаго свойства, какъ дурная и непорядочная женщина. И когда въ ея душѣ торжество и любовь къ мужу мѣшались съ чувствомъ униженія и оскорбленной гордости, то ею овладѣвалъ задоръ и хотѣлось тогда сѣсть на козлы и кричать, подсвистывать...

Какъ разъ въ то самое время, когда проѣзжали мимо женскаго монастыря, раздался ударъ большого тысячепудоваго колокола. Рита перекрестилась.

— Въ этомъ монастырѣ наша Оля, — сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачѣмъ она пошла въ монастырь? — спросилъ полковникъ.

— Par dépit, — сердито отвѣтила Рита, очевидно намекая на бракъ Софьи Львовны съ Ягичемъ. — Теперь въ модѣ это par dépit. Вызовъ всему свѣту. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеровъ и вдругъ — на, поди! Удивила!

— Это неправда, — сказалъ Володя маленькій, опуская воротникъ шубы и показывая свое красивое лицо. — Тутъ не par dépit, а сплошный ужасъ. Ея брата Дмитрія сослали въ каторжныя работы, и теперь неизвѣстно, гдѣ онъ, а мать, царство ей небесное, умерла съ горя.

Онъ опять поднялъ воротникъ.

— И хорошо сдѣлала, — добавилъ онъ глухо. — Жить на положеніи воспитанницы, да еще съ такимъ золотомъ, какъ Софья Львовна — тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала въ его голосѣ презрительный тонъ и хотѣла сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладѣлъ тотъ же задоръ; она поднялась на ноги и крикнула плачущимъ голосомъ:

— Я хочу къ утренѣ! Ямщикъ, назадъ! Я хочу Олю видѣть!

Повернули назадъ. Звонъ монастырскаго колокола былъ густой, и, какъ казалось Софьѣ Львовнѣ, что-то въ немъ напоминало объ Олѣ и ея жизни. Зазвонили и въ другихъ церквахъ. Когда ямщикъ осадилъ тройку, Софья Львовна выскочила изъ саней и одна, безъ провожатаго, быстро пошла къ воротамъ.

— Скорѣй, пожалуйста! — крикнулъ ей мужъ. — Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потомъ по аллеѣ, которая вела отъ воротъ къ главной церкви, и снѣжокъ хрустѣлъ у нея подъ ногами, и звонъ раздавался уже надъ самою головой и, казалось, проникалъ во все ея существо. Вотъ церковная дверь, три ступеньки внизъ, затѣмъ притворъ съ изображеніями святыхъ по обѣ стороны, запахло можжевельникомъ и ладаномъ, опять дверь, и темная фигурка отворяетъ ее и кланяется низко-низко... Въ церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свѣчи на

ставникахъ, другая зажигала паникадило. Тамъ и сямъ, ближе къ колоннамъ и боковымъ придѣламъ, стояли неподвижно черныя фигуры. „Значитъ, какъ онѣ стоятъ теперь, такъ ужъ не сойдутъ до самаго утра“, подумала Софья Львовна, и ей показалось тутъ темно, холодно, скучно, — скучнѣе, чѣмъ на кладбищѣ. Она съ чувствомъ скуки поглядѣла на неподвижныя, застывшія фигуры, и вдругъ сердце у нея сжалось. Почему-то въ одной изъ монашенокъ, небольшого роста, съ худенькими плечами и съ черною косынкой на головѣ она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила въ монастырь, была полная и какъ будто повыше. Нерѣшительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла къ послушницѣ и черезъ плечо поглядѣла ей въ лицо, и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и ужъ не могла говорить отъ волненія. — Оля!

Монашенка тотчасъ же узнала ее, удивленно подняла брови, и ея блѣдное, недавно умытое, чистое лицо и даже, какъ показалось, ея бѣлый платочекъ, который виденъ былъ изъ-подъ косынки, просіяли отъ радости.

— Вотъ Господь чудо послалъ! — сказала она и тоже всплеснула своими худыми, блѣдными ручками.

Софья Львовна крѣпко обняла ее и поцѣловала, и боялась при этомъ, чтобы отъ нея не пахло виномъ.

— А мы сейчасъ ѣхали мимо и вспомнили про тебя, — говорила она, запыхавшись, какъ отъ быстрой ходьбы. — Какая ты блѣдная, Господи! Я... я очень рада тебя видѣть. Ну, что? Какъ? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на другихъ монахинь и продолжала уже тихимъ голосомъ:

— У насъ столько перемѣнъ... Ты знаешь, я замужъ вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, навѣрное... Я очень счастлива съ нимъ.

— Ну, слава Богу! А папа твой здоровъ?

— Здоровъ. Часто про тебя вспоминаетъ. Ты же, Оля, приходи къ намъ на праздникахъ. Слышишь?

— Приду, — сказала Оля и усмѣхнулась. — Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потомъ вытерла глаза и сказала:

— Рита будетъ очень жалѣть, что тебя не видѣла. Она тоже съ нами. И Володя тутъ. Они около воротъ. Какъ бы они были рады, если бы ты повидалась съ ними! Пойдемъ къ нимъ, вѣдь служба еще не начиналась.

— Пойдемъ, — согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вмѣстѣ съ Софьей Львовной пошла къ выходу.

— Такъ ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень!

— Ну, слава Богу.

Володя большой и Володя маленькій, увидѣвъ монашку, вышли изъ саней и почтительно поздоровались; оба были замѣтно тронуты, что у нея блѣдное лицо и черное монашеское платье, и обоимъ было пріятно, что она вспомнила про нихъ и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна окутала ее въ пледъ и прикрыла

одною полой своей шубы. Недавнія слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, безпокойная и въ сущности нечистая ночь неожиданно кончилась такъ чисто и кротко... И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатимъ! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашка откажется — святые на тройкахъ не ѣздятъ, — но къ ихъ удивленію она согласилась и сѣла въ сани. И когда тройка помчалась къ заставѣ, всѣ молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думалъ о томъ, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нея теперь было безстрастное, мало выразительное, холодное и блѣдное, прозрачное, будто въ жилахъ ея текла вода, а не кровь. А года два-три назадъ она была полной, румяной, говорила о женихахъ, хохотала отъ малѣйшаго пустяка...

Около заставы тройка повернула назадъ; когда она минутъ черезъ десять остановилась около монастыря, Оля вышла изъ саней. На колокольнѣ уже перезванивали.

— Спаси васъ Господи, — сказала Оля и низко по-монашески поклонилась.

— Такъ ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла въ темныхъ воротахъ. И послѣ этого почему-то, когда тройка поѣхала дальше, стало грустно-грустно. Всѣ молчали. Софья Львовна почувствовала во всемъ тѣлѣ слабость и пала духомъ; то, что она заставила мо-

нашку сѣсть въ сани и прокатиться на тройкѣ, въ нетрезвой компаніи, казалось ей уже глупымъ, безтактнымъ и похожимъ на кощунство; вмѣстѣ съ хмелемъ у нея прошло и желаніе обманывать себя, и для нея уже ясно было, что мужа своего она не любитъ и любить не можетъ, что все вздоръ и глупость. Она вышла изъ расчета, потому что онъ, по выраженію ея институтскихъ подругъ, безумно богатъ, и потому что ей страшно было оставаться въ старыхъ дѣвахъ, какъ Рита, и потому, что надоѣлъ отецъ-докторъ и хотѣлось досадить Володѣ маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это такъ тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какія блага въ свѣтѣ не согласилась бы вѣнчаться. Но теперь бѣды не поправишь. Надо мириться.

Пріѣхали домой. Ложась въ теплую мягкую постель и укрываясь одѣяломъ, Софья Львовна вспомнила темный притворъ, запахъ ладана и фигуры у колоннъ, и ей было жутко отъ мысли, что эти фигуры будутъ стоять неподвижно все время, пока она будетъ спать. Утреня будетъ длинная-длинная, потомъ часы, потомъ обѣдня, молебенъ...

„Но вѣдь Богъ есть, навѣрное есть, и я непремѣнно должна умереть, значитъ, надо рано или поздно подумать о душѣ, о вѣчной жизни, какъ Оля. Оля теперь спасена, она рѣшила для себя всѣ вопросы... Но если Бога нѣтъ? Тогда пропала ея жизнь. То-есть какъ пропала? Почему пропала?"

А черезъ минуту въ голову опять лѣзетъ мысль:

„Богъ есть, смерть непремѣнно придетъ, надо о душѣ подумать. Если Оля сію минуту увидитъ свою смерть, то ей не будетъ страшно. Она готова. А

главное, она уже рѣшила для себя вопросъ жизни. Богъ есть... да... Но неужели нѣтъ другого выхода, какъ только итти въ монастырь? Вѣдь итти въ монастырь — значитъ отречься отъ жизни, погубить ее...“

Софьѣ Львовнѣ становилось немножко страшно: она спрятала голову подъ подушку и шептала:

— Не надо объ этомъ думать... Не надо...

И какъ только въ сознаніи появлялась мысль о Богѣ, о смерти, объ Олѣ, Софья Львовна старалась оттѣснить ее назадъ другими мыслями, неслышно напѣвала маршъ, который слышала недавно въ пассажѣ, и мысленно отбивала тактъ.

Ягичъ ходилъ въ сосѣдней комнатѣ по ковру, мягко звеня шпорами, и о чемъ-то думалъ. Софьѣ Львовнѣ пришла мысль, что этотъ человѣкъ близокъ и дорогъ ей только въ одномъ: его тоже зовутъ Владиміромъ. Она сѣла въ постель и позвала нѣжно:

— Володя!

— Что тебѣ? — отозвался мужъ.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звонъ, быть-можетъ, тотъ же самый монастырскій, припомнились ей опять притворъ и темныя фигуры, забродили въ головѣ мысли о Богѣ и неизбѣжной смерти, и она укрылась съ головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что прежде чѣмъ наступятъ старость и смерть, будетъ еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо-дня въ день придется считаться съ близостью нелюбимаго человѣка, который вотъ пришелъ уже въ спальню и ложится спать, и придется душить въ себѣ безнадежную любовь къ другому — молодому, обаятельному, необыкновенному...

нашку сѣсть въ сани и прокатиться на тройкѣ, въ нетрезвой компаніи, казалось ей уже глупымъ, безтактнымъ и похожимъ на кощунство; вмѣстѣ съ хмелемъ у нея прошло и желаніе обманывать себя, и для нея уже ясно было, что мужа своего она не любитъ и любить не можетъ, что все вздоръ и глупость. Она вышла изъ расчета, потому что онъ, по выраженію ея институтскихъ подругъ, безумно богатъ, и потому что ей страшно было оставаться въ старыхъ дѣвахъ, какъ Рита, и потому, что надоѣлъ отецъ-докторъ и хотѣлось досадить Володѣ маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это такъ тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какія блага въ свѣтѣ не согласилась бы вѣнчаться. Но теперь бѣды не поправишь. Надо мириться.

Пріѣхали домой. Ложась въ теплую мягкую постель и укрываясь одѣяломъ, Софья Львовна вспомнила темный притворъ, запахъ ладана и фигуры у колоннъ, и ей было жутко отъ мысли, что эти фигуры будутъ стоять неподвижно все время, пока она будетъ спать. Утреня будетъ длинная-длинная, потомъ часы, потомъ обѣдня, молебенъ...

„Но вѣдь Богъ есть, навѣрное есть, и я непремѣнно должна умереть, значитъ, надо рано или поздно подумать о душѣ, о вѣчной жизни, какъ Оля. Оля теперь спасена, она рѣшила для себя всѣ вопросы... Но если Бога нѣтъ? Тогда пропала ея жизнь. То-есть какъ пропала? Почему пропала?“

А черезъ минуту въ голову опять лѣзетъ мысль:

„Богъ есть, смерть непремѣнно придетъ, надо о душѣ подумать. Если Оля сію минуту увидитъ свою смерть, то ей не будетъ страшно. Она готова. А

Она слышала, какъ Ягичъ позвонилъ у телефона.

— Будьте добры, соедините съ Васильевскими казармами! — сказалъ онъ; а черезъ минуту: — Васильевскія казармы? Пригласите, пожалуйста, къ телефону доктора Салимовича...— И еще черезъ минуту:— Съ кѣмъ говорю? Ты, Володя? Очень радъ. Попроси, милый, отца пріѣхать сейчасъ къ намъ, а то моя супруга сильно раскленлась послѣ вчерашняго. Нѣтъ дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Merci.

Ягичъ въ третій разъ вошелъ въ спальню, нагнулся къ женѣ, перекрестилъ ее, далъ ей поцѣловать свою руку (женщины, которыя его любили, цѣловали ему руку, и онъ привыкъ къ этому) и сказалъ, что вернется къ обѣду. И вышелъ.

Въ двѣнадцатомъ часу горничная доложила, что пришли Владимиръ Михайловичъ. Въ одно мгновеніе Софья Львовна забыла про par dépit и про то, что у нея голова болитъ, и, пошатываясь отъ усталости, быстро надѣла свой новый удивительный капотъ сиреневаго цвѣта, съ мѣховою обшивкой, наскоро кое-какъ причесалась; она чувствовала въ своей душѣ невыразимую нѣжность и дрожала отъ радости и страха, что онъ можетъ уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленькій пришелъ съ визитомъ, какъ слѣдуетъ, во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Когда въ гостиную вошла Софья Львовна, онъ поцѣловалъ у нея руку и искренно пожалѣлъ, что она нездорова. Потомъ, когда сѣли, похвалилъ ея капотъ.

— А меня разстроило вчерашнее свиданіе съ Олей, — сказала она. — Сначала мнѣ было жутко,

но теперь я ей завидую. Она — несокрушимая скала, ее съ мѣста не сдвинешь; но неужели, Володя, у нея не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значитъ рѣшать вопросъ жизни? Вѣдь это смерть, а не жизнь.

При воспоминаніи объ Олѣ на лицѣ у Володи маленькаго показалось умиленіе.

— Вотъ вы, Володя, умный человѣкъ, — сказала Софья Львовна, - научите меня, чтобы я поступила точно такъ же, какъ она. Конечно, я невѣрующая и въ монастырь не пошла бы, но вѣдь можно сдѣлать что-нибудь равносильное. Мнѣ нелегко живется, — продолжала она, помолчавъ немного. — Научите же... Скажите мнѣ что-нибудь убѣдительное. Хоть одно слово скажите...

— Одно слово? Извольте: тарарабумбія.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной какимъ-то особеннымъ, простите, фатовскимъ языкомъ, какъ не говорятъ съ друзьями и съ порядочными женщинами. Вы имѣете успѣхъ, какъ ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о наукѣ? Отчего? Я не достойна?

Володя маленькій досадливо поморщился и сказалъ:

— Отчего это вамъ такъ вдругъ науки захотѣлось? А, можетъ, хотите конституціи? Или, можетъ, севрюжины съ хрѣномъ?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, безпринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибокъ, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но вѣдь вы, Володя, старше

меня на десять лѣтъ, а мужъ старше меня на тридцать лѣтъ... Я росла на вашихъ глазахъ, и если бы вы захотѣли, то могли бы сдѣлать изъ меня все, что вамъ угодно, хоть ангела. Но вы... (голосъ у нея дрогнулъ) поступаете со мной ужасно. Ягичъ женился на мнѣ, когда ужъ постарѣлъ, а вы...

— Ну, полно, полно... — сказалъ Володя, садясь поближе и цѣлуя ей обѣ руки.—Предоставимъ Шопенгауэрамъ философствовать и доказывать все, что имъ угодно, а сами будемъ цѣловать эти ручки.

— Вы меня презираете и если бъ вы знали, какъ я страдаю отъ этого! — сказала она нерѣшительно, заранѣе зная, что онъ ей не повѣритъ.—А если бъ вы знали, какъ мнѣ хочется измѣниться, начать новую жизнь! Я съ восторгомъ думаю объ этомъ, — проговорила она и въ самомъ дѣлѣ прослезилась отъ восторга.—Быть хорошимъ, честнымъ, чистымъ человѣкомъ, не лгать, имѣть цѣль въ жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю!—сказалъ Володя, и лицо его приняло капризное выраженіе.—Ей Богу точно на сценѣ. Будемъ держать себя по-человѣчески.

Чтобы онъ не разсердился и не ушелъ, она стала оправдываться и въ угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила объ Олѣ и про то, какъ ей хочется рѣшить вопросъ своей жизни, стать человѣкомъ.

— Тара...ра...бумбія...—запѣлъ онъ вполголоса.— Тара...ра...бумбія!

И неожиданно взялъ ее за талію. А она, сама не зная, что дѣлаетъ, положила ему на плечи руки и минуту съ восхищеніемъ, точно въ чаду ка-

комъ-то, смотрѣла на его умное, насмѣшливое лицо, лобъ, глаза, прекрасную бороду...

— Ты самъ давно знаешь, я люблю тебя, — созналась она ему и мучительно покраснѣла и почувствовала, что у нея даже губы судорожно покривились отъ стыда. — Я тебя люблю. Зачѣмъ же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крѣпко поцѣловала его въ губы, и долго, пожалуй, съ минуту, никакъ не могла кончить этого поцѣлуя, хотя знала, что это неприлично, что онъ самъ можетъ осудить ее, можетъ войти прислуга...

— О, какъ ты меня мучаешь! — повторила она.

Когда черезъ полчаса онъ, получившій то, что ему нужно было, сидѣлъ въ столовой и закусывалъ, она стояла передъ нимъ на колѣняхъ и съ жадностью смотрѣла ему въ лицо, и онъ говорилъ ей, что она похожа на собачку, которая ждетъ, чтобъ ей бросили кусочекъ ветчины. Потомъ онъ посадилъ ее къ себѣ на одно колѣно и, качая какъ ребенка, запѣлъ:

— Тара... рабумбія... Тара... рабумбія!

А когда онъ собрался уходить, она спрашивала его страстнымъ голосомъ:

— Когда? Сегодня? Гдѣ?

И она протянула къ его рту обѣ руки, какъ бы желая схватить отвѣтъ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказалъ онъ, подумавъ. — Вотъ развѣ завтра.

И они разстались... Передъ обѣдомъ Софья Львовна поѣхала въ монастырь къ Олѣ, но тамъ сказали ей, что Оля гдѣ-то по покойникѣ читаетъ

псалтирь. Изъ монастыря она поѣхала къ отцу и тоже не застала дома, потомъ перемѣнила извозчика и стала ѣздить по улицамъ и переулкамъ безъ всякой цѣли, и каталась такъ до вечера. И почему-то при этомъ вспоминалась ей та самая тетя съ заплаканными глазами, которая не находила себѣ мѣста.

А ночью опять катались на тройкахъ и слушали цыганъ въ загородномъ ресторанѣ. И когда опять проѣзжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко отъ мысли, что для дѣвушекъ и женщинъ ея круга нѣтъ другого выхода, какъ непереставая кататься на тройкахъ и лгать, или же итти въ монастырь, убивать плоть... А на другой день было свиданіе, и опять Софья Львовна ѣздила по городу одна на извозчикѣ и вспоминала про тетю.

Черезъ недѣлю Володя маленькій бросилъ ее. И послѣ этого жизнь пошла попрежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковникъ и Володя маленькій играли подолгу на бильярдѣ и въ пикетъ, Рита безвкусно и вяло разсказывала анекдоты, Софья Львовна все ѣздила на извозчикѣ и просила мужа, чтобы онъ покаталъ ее на тройкѣ.

Заѣзжая почти каждый день въ монастырь, она надоѣдала Олѣ, жаловалась ей на свои невыносимыя страданія, плакала и при этомъ чувствовала, что въ келью вмѣстѣ съ нею вошло что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тономъ заученнаго урока говорила ей, что все это ничего, все пройдетъ и Богъ проститъ...

Учитель словесности.

I.

Послышался стукъ лошадиныхъ копытъ о бревенчатый полъ; вывели изъ конюшни сначала вороного Графа Нулина, потомъ бѣлаго Великана, потомъ сестру его Майку... Все это были превосходныя и дорогія лошади. Старикъ Шелестовъ осѣдлалъ Великана и сказалъ, обращаясь къ своей дочери Машѣ:

— Ну, Марія Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей въ семьѣ; ей было уже 18 лѣтъ, но въ семьѣ еще не отвыкли считать ее маленькой и потому всѣ звали ее Маней и Манюсей; а послѣ того, какъ въ городѣ побывалъ циркъ, который она усердно посѣщала, ее всѣ стали звать Маріей Годфруа.

— Опля!—крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ея Варя сѣла на Майку, Никитинъ — на Графа Нулина, офицеры — на своихъ лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрѣя бѣлыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагомъ потянулась со двора.

Никитинъ замѣтилъ, что, когда садились на лошадей и потомъ выѣхали на улицу, Манюся почему-то обращала вниманіе только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

— Вы, Сергѣй Васильичъ, держите его все время на мундштукѣ. Не давайте ему пугаться. Онъ притворяется.

И оттого ли, что ея Великанъ былъ въ большой дружбѣ съ Графомъ Нулинымъ, или выходило это случайно, она, какъ вчера и третьяго дня, ѣхала все время рядомъ съ Никитинымъ. А онъ глядѣлъ на ея маленькое стройное тѣло, сидѣвшее на бѣломъ гордомъ животномъ, на ея тонкій профиль, на цилиндръ, который вовсе не шелъ къ ней и дѣлалъ ее старѣе, чѣмъ она была, глядѣлъ съ радостью, съ умиленіемъ, съ восторгомъ, слушалъ ее, мало понималъ и думалъ:

„Даю себѣ честное слово, клянусь Богомъ, что не буду робѣть и сегодня же объяснюсь съ ней“...

Былъ седьмой часъ вечера—время, когда бѣлая акація и сирень пахнутъ такъ сильно, что, кажется, воздухъ и сами деревья стынутъ отъ своего запаха. Въ городскомъ саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всѣхъ сторонъ слышались смѣхъ, говоръ, хлопанье калитокъ... Встрѣчные солдаты козыряли офицерамъ, гимназисты кланялись Никитину, и, видимо, всѣмъ гуляющимъ, спѣшившимъ въ садъ на музыку, было очень пріятно глядѣть на кавалькаду. А какъ тепло, какъ мягки на видъ облака, разбросанныя въ безпорядкѣ по

небу, какъ кротки и уютны тѣни тополей и акацій, тѣни, которыя тянутся черезъ всю широкую улицу и захватываютъ на другой сторонѣ дома до самыхъ балконовъ и вторыхъ этажей!

Выѣхали за городъ и побѣжали рысью по большой дорогѣ... Здѣсь ужъ не пахло акаціей и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полемъ, зеленѣли молодыя рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, вездѣ зелено, только кое-гдѣ чернѣютъ бахчи, да далеко влѣво на кладбищѣ бѣлѣетъ полоса отцвѣтающихъ яблонь.

Проѣхали мимо боенъ, потомъ мимо пивовареннаго завода, обогнали толпу солдатъ-музыкантовъ, спѣшившихъ въ загородный садъ.

— У Полянскаго очень хорошая лошадь, я не спорю,—говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ѣхавшаго рядомъ съ Варей.—Но она бракованая... Совсѣмъ ужъ некстати это бѣлое пятно на лѣвой ногѣ и, поглядите, головой закидываетъ. Теперь ужъ ее ничѣмъ не отучишь, такъ и будетъ закидывать, пока не издохнетъ.

Манюся была такой же страстной лошадницей, какъ и ея отецъ. Она страдала, когда видѣла у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужихъ лошадей. Никитинъ же ничего не понималъ въ лошадяхъ, для него было рѣшительно все равно, держать ли лошадь на поводьяхъ или на мундштукѣ, скакать ли рысью или галопомъ; онъ только чувствовалъ, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умѣютъ держаться на сѣдлѣ,

должны нравиться Манюсѣ больше, чѣмъ онъ. И онъ ревновалъ ее къ офицерамъ.

Когда ѣхали мимо загороднаго сада, кто-то предложилъ заѣхать и выпить сельтерской воды. Заѣхали. Въ саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, такъ что теперь сквозь молодую листву виденъ былъ весь садъ съ его эстрадой, столиками, качелями, видны были всѣ вороньи гнѣзда, похожія на большія шапки. Всадники и ихъ дамы спѣшились около одного изъ столиковъ и потребовали сельтерской воды. Къ нимъ стали подходить знакомые, гулявшіе въ саду. Между прочимъ подошли военный докторъ въ высокихъ сапогахъ и капельмейстеръ, дожидавшійся своихъ музыкантовъ. Должно-быть, докторъ принялъ Никитина за студента, потому что спросилъ:

— Вы изволили на каникулы пріѣхать?

— Нѣтъ, я здѣсь постоянно живу... — отвѣтилъ Никитинъ.—Я служу преподавателемъ въ гимназіи.

— Неужели?—удивился докторъ.—Такъ молоды и уже учительствуете?

— Гдѣ же молодъ? Мнѣ 26 лѣтъ... Слава Тебѣ Господи.

— У васъ и борода и усы, но все же на видъ вамъ нельзя дать больше 22—23 лѣтъ. Какъ вы моложавы!

„Что за свинство!—подумалъ Никитинъ.—И этотъ считаетъ меня молокососомъ!“

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводилъ рѣчь объ его молодости, особенно въ присутствіи женщинъ или гимназистовъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ пріѣхалъ въ этотъ городъ и поступилъ

на службу, онъ сталъ ненавидѣть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодымъ человѣкомъ, женщины охотнѣе танцовали съ нимъ, чѣмъ слушали его длинныя разсужденія... И онъ дорого далъ бы за то, чтобы постарѣть теперь лѣтъ на десять.

Изъ сада поѣхали дальше, на ферму Шелестовыхъ. Здѣсь остановились около воротъ, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не сталъ пить, всѣ переглянулись, засмѣялись и поскакали назадъ. Когда ѣхали обратно, въ загородномъ саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова отъ зари.

Манюся опять ѣхала рядомъ съ Никитинымъ... Ему хотѣлось заговорить о томъ, какъ страстно онъ ее любитъ, но онъ боялся, что его услышатъ офицеры и Варя, и молчалъ. Манюся тоже молчала, и онъ чувствовалъ, отчего она молчитъ и почему ѣдетъ рядомъ съ нимъ, и былъ такъ счастливъ, что земля, небо, городскіе огни, силуэтъ пивовареннаго завода—все сливалось у него въ глазахъ во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Графъ Нулинъ ѣдетъ по воздуху и хочетъ вскарабкаться на багровое небо...

Пріѣхали домой... На столѣ въ саду уже кипѣлъ самоваръ, и на одномъ краю стола со своими пріятелями, чиновниками окружного суда, сидѣлъ старикъ Шелестовъ и, по обыкновенію, что-то критиковалъ.

— Это хамство!—говорилъ онъ.—Хамство и больше ничего. Да-съ, хамство-съ!

Никитину съ тѣхъ поръ, какъ онъ влюбился въ Манюсю, все нравилось у Шелестовыхъ: и домъ, и садъ при домѣ, и вечерній чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово „хамство“, которое любилъ часто произносить старикъ. Не нравилось ему только изобиліе собакъ и кошекъ, да египетскіе голуби, которые уныло стонали въ большой клѣткѣ на террасѣ. Собакъ дворовыхъ и комнатныхъ было такъ много, что за все время знакомства съ Шелестовыми онъ научился узнавать только двухъ: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облѣзлая собачонка съ мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидѣла; увидѣвъ его, она всякій разъ склоняла голову на бокъ, скалила зубы и начинала: „Ррр... нга-нга-нга-нга... ррр...“

Потомъ садилась подъ стулъ. Когда же онъ пытался прогнать ее изъ-подъ своего стула, она заливалась пронзительнымъ лаемъ, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у насъ добрая.

Сомъ же представлялъ изъ себя огромнаго чернаго пса на длинныхъ ногахъ и съ хвостомъ, жесткимъ какъ палка. За обѣдомъ и за чаемъ онъ обыкновенно ходилъ молча подъ столомъ и стучалъ хвостомъ по сапогамъ и по ножкамъ стола. Это былъ добрый, глупый песъ, но Никитинъ терпѣть его не могъ за то, что онъ имѣлъ привычку класть свою морду на колѣни обѣдающимъ и пачкать слюною брюки. Никитинъ не разъ пробовалъ бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкалъ

по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюкъ отъ пятенъ.

Послѣ прогулки верхомъ чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стаканъ всѣ выпили съ большимъ аппетитомъ и молча, передъ вторымъ же принялись спорить. Споры всякій разъ за чаемъ и за обѣдомъ начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивѣе Манюси, считалась самою умной и образованной въ домѣ и держала себя солидно, строго, какъ это и подобало старшей дочери, занявшей въ домѣ мѣсто покойной матери. На правахъ хозяйки она ходила при гостяхъ въ блузѣ, офицеровъ величала по фамиліи, на Манюсю глядѣла какъ на дѣвочку и говорила съ нею тономъ классной дамы. Называла она себя старою дѣвой — значитъ, была увѣрена, что выйдетъ замужъ.

Всякій разговоръ даже о погодѣ она непремѣнно сводила на споръ. У нея была какая-то страсть — ловить всѣхъ на словѣ, уличать въ противорѣчіи, придираться къ фразѣ. Вы начинаете говорить съ ней о чемъ-нибудь, а она уже пристально смотритъ вамъ въ лицо и вдругъ перебиваетъ: „Позвольте, позвольте, Петровъ: третьяго дня вы говорили совсѣмъ противоположное!“

Или же она насмѣшливо улыбается и говоритъ: „Однако, я замѣчаю, вы начинаете проповѣдывать принципы третьяго отдѣленія. Поздравляю васъ“.

Если вы сострили или сказали каламбуръ, тотчасъ же вы слышите ея голосъ: „Это старо!“ или: „Это плоско!“ Если же острить офицеръ, то

она дѣлаетъ презрительную гримасу и говоритъ: „Арррмейская острота“!

И это „ррр“... выходило у нея такъ внушительно, что Мушка непремѣнно отвѣчала ей изъ-подъ стула: „ррр... нга-нга-нга“...

Теперь за чаемъ споръ начался съ того, что Никитинъ заговорилъ о гимназическихъ экзаменахъ.

— Позвольте, Сергѣй Васильичъ,—перебила его Варя.—Вотъ вы говорите, что ученикамъ трудно... А кто виноватъ, позвольте васъ спросить? Напримѣръ, вы задали ученикамъ VIII класса сочиненіе на тему: „Пушкинъ, какъ психологъ“. Во-первыхъ, нельзя задавать такихъ трудныхъ темъ, а во-вторыхъ, какой же Пушкинъ психологъ? Ну, Щедринъ или, положимъ, Достоевскій—другое дѣло, а Пушкинъ великій поэтъ и больше ничего...

— Щедринъ самъ по себѣ, а Пушкинъ самъ по себѣ,—угрюмо отвѣтилъ Никитинъ.

— Я знаю, у васъ въ гимназіи не признаютъ Щедрина, но не въ этомъ дѣло. Вы скажите мнѣ, какой же Пушкинъ психологъ?

— А то развѣ не психологъ? Извольте, я приведу вамъ примѣры.

И Никитинъ продекламировалъ нѣсколько мѣстъ изъ Онѣгина, потомъ изъ Бориса Годунова.

— Никакой не вижу тутъ психологіи... — вздохнула Варя.—Психологомъ называется тотъ, кто описываетъ изгибы человѣческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего...

— Я знаю, какой вамъ нужно психологіи!—обидѣлся Никитинъ.—Вамъ нужно, чтобы кто-нибудь

пилилъ мнѣ тупой пилою палецъ и чтобы я оралъ во все горло—это по-вашему психологія...

— Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мнѣ: почему же Пушкинъ психологъ?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чѣмъ-нибудь въ родѣ этого, то обыкновенно онъ вскакивалъ съ мѣста, хваталъ себя обѣими руками за голову и начиналъ со стономъ бѣгать изъ угла въ уголъ. И теперь то же самое: онъ вскочилъ, схватилъ себя за голову и со стономъ прошелся вокругъ стола, потомъ сѣлъ поодаль...

За него вступились офицеры. Штабсъ-капитанъ Полянскій сталъ увѣрять Варю, что Пушкинъ въ самомъ дѣлѣ психологъ, и въ доказательство привелъ два стиха изъ Лермонтова; поручикъ Гернетъ сказалъ, что если бы Пушкинъ не былъ психологомъ, то ему не поставили бы въ Москвѣ памятника.

— Это хамство! — доносилось съ другого конца стола. — Я такъ и губернатору сказалъ: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю! — крикнулъ Никитинъ. — Это его же царствію не будетъ конца! Баста! Ахъ, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнулъ онъ на Сома, который положилъ ему на колѣни голову и лапу.

„Ррр... нга-нга-нга"... послышалось изъ-подъ стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя. — Сознайтесь!

Но пришли гостьи-барышни, и споръ прекратился

самъ собой. Всѣ отправились въ залъ. Варя сѣла за рояль и стала играть танцы. Протанцовали сначала вальсъ, потомъ польку, потомъ кадриль съ grand-rond, которое провелъ по всѣмъ комнатамъ штабсъ-капитанъ Полянскій, потомъ опять стали танцовать вальсъ.

Старики во время танцевъ сидѣли въ залѣ, курили и смотрѣли на молодежь. Между ними находился и Шебалдинъ, директоръ городского кредитнаго общества, славившійся своей любовью къ литературѣ и сценическому искусству. Онъ положилъ начало мѣстному „Музыкально-драматическому кружку“ и самъ принималъ участіе въ спектакляхъ, играя почему-то всегда только однихъ смѣшныхъ лакеевъ или читая нараспѣвъ „Грѣшницу“. Звали его въ городѣ муміей, такъ какъ онъ былъ высокъ, очень тощъ, жилистъ и имѣлъ всегда торжественное выраженіе лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство онъ любилъ такъ искренно, что даже брилъ себѣ усы и бороду, а это еще больше дѣлало его похожимъ на мумію.

Послѣ grand-rond онъ нерѣшительно, какъ-то бокомъ подошелъ къ Никитину, кашлянулъ и сказалъ:

— Я имѣлъ удовольствіе присутствовать за чаемъ во время спора. Вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе. Мы съ вами единомышленники и мнѣ было бы очень пріятно поговорить съ вами. Вы изволили читать „Гамбургскую драматургію“ Лессинга?

— Нѣтъ, не читалъ.

Шебалдинъ ужаснулся и замахалъ руками такъ, какъ будто ожогъ себѣ пальцы, и, ничего не го-

воря, попятился отъ Никитина. Фигура Шебалдина, его вопросъ и удивленіе показались Никитину смѣшными, но онъ все-таки подумалъ:

„Въ самомъ дѣлѣ неловко. Я — учитель словесности, а до сихъ поръ еще не читалъ Лессинга. Надо будетъ прочесть“.

Передъ ужиномъ всѣ, молодые и старые, сѣли играть въ „судьбу“. Взяли двѣ колоды картъ: одну сдали всѣмъ поровну, другую положили на столъ рубашкой вверхъ.

— У кого на рукахъ эта карта, — началъ торжественно старикъ Шелестовъ, поднимая верхнюю карту второй колоды, — тому судьба пойти сейчасъ въ дѣтскую и поцѣловаться тамъ съ няней.

Удовольствіе цѣловаться съ няней выпало на долю Шебалдина. Всѣ гурьбой окружили его, повели въ дѣтскую и со смѣхомъ, хлопая въ ладоши, заставили поцѣловаться съ няней. Поднялся шумъ, крикъ...

— Не такъ страстно! — кричалъ Шелестовъ, плача отъ смѣха. — Не такъ страстно!

Никитину вышла судьба исповѣдывать всѣхъ. Онъ сѣлъ на стулъ среди залы. Принесли шаль и накрыли его съ головой. Первой пришла къ нему исповѣдываться Варя.

— Я знаю ваши грѣхи, — началъ Никитинъ, глядя въ потемкахъ на ея строгій профиль. — Скажите мнѣ, сударыня, съ какой это стати вы каждый день гуляете съ Полянскимъ? Охъ, не даромъ, не даромъ она съ гусаромъ!

— Это плоско, — сказала Варя и ушла.

Затѣмъ подъ шалью заблестѣли большіе непо-

движные глаза, обозначился въ потемкахъ милый профиль и запахло чѣмъ-то дорогимъ, давно знакомымъ, что напомнило Никитину комнатку Манюси.

— Марія Годфруа, — сказалъ онъ и не узналъ своего голоса — такъ онъ былъ нѣженъ и мягокъ, — въ чемъ вы грѣшны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончикъ языка, потомъ засмѣялась и ушла. А черезъ минуту она уже стояла среди залы, хлопала въ ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И всѣ повалили въ столовую.

За ужиномъ Варя опять спорила и на этотъ разъ съ отцомъ. Полянскій солидно ѣлъ, пилъ красное вино и разсказывалъ Никитину, какъ онъ разъ зимою, будучи на войнѣ, всю ночь простоялъ по колѣно въ болотѣ; непріятель былъ близко, такъ что не позволялось ни говорить ни курить, ночь была холодная, темная, дулъ пронзительный вѣтеръ... Никитинъ слушалъ и косился на Манюсю. Она глядѣла на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чемъ-то или забылась... Для него это было и пріятно и мучительно.

„Зачѣмъ она на меня такъ смотритъ?— мучился онъ. — Это неловко. Могутъ замѣтить. Ахъ, какъ она еще молода, какъ наивна!“

Гости стали расходиться въ полночь. Когда Никитинъ вышелъ за ворота, во второмъ этажѣ дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

— Сергѣй Васильичъ! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вотъ что...—проговорила Манюся, видимо, при-

думывая, что бы сказать. — Вотъ что... Полянскій обѣщалъ притти на-дняхъ со своей фотографіей и снять всѣхъ насъ. Надо будетъ собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло и тотчасъ же въ домѣ кто-то заигралъ на роялѣ.

„Ну, домъ! — думалъ Никитинъ, переходя черезъ улицу. — Домъ, въ которомъ стонутъ одни только египетскіе голуби, да и то потому, что иначе не умѣютъ выражать своей радости!“

Но не у однихъ только Шелестовыхъ жилось весело. Не прошелъ Никитинъ и двухсотъ шаговъ, какъ и изъ другого дома послышались звуки рояля. Прошелъ онъ еще немного и увидѣлъ у воротъ мужика, играющаго на балалайкѣ. Въ саду оркестръ грянулъ попури изъ русскихъ пѣсенъ...

Никитинъ жилъ въ полуверстѣ отъ Шелестовыхъ, въ квартирѣ изъ восьми комнатъ, которую онъ нанималъ за триста рублей въ годъ, вмѣстѣ со своимъ товарищемъ, учителемъ географіи и исторіи Ипполитомъ Ипполитычемъ. Этотъ Ипполитъ Ипполитычъ, еще не старый человѣкъ, съ рыжею бородкой, курносый, съ лицомъ грубоватымъ и не интеллигентнымъ, какъ у мастерового, но добродушнымъ, когда вернулся домой Никитинъ, сидѣлъ у себя за столомъ и поправлялъ ученическія карты. Самымъ нужнымъ и самымъ важнымъ считалось у него по географіи черченіе картъ, а по исторіи— знаніе хронологіи; по цѣлымъ ночамъ сидѣлъ онъ и синимъ карандашомъ поправлялъ карты своихъ учениковъ и ученицъ, или же составлялъ хронологическія таблички.

— Какая сегодня великолѣпная погода! — сказалъ Никитинъ, входя къ нему. — Удивляюсь вамъ, какъ это вы можете сидѣть въ комнатѣ!

Ипполитъ Ипполитычъ былъ человѣкъ не разговорчивый; онъ или молчалъ, или же говорилъ только о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно. Теперь онъ отвѣтилъ такъ:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будетъ настоящее лѣто. А лѣто не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а лѣтомъ и безъ печей тепло. Лѣтомъ откроешь ночью окна и все-таки тепло, а зимою — двойныя рамы и все-таки холодно.

Никитинъ посидѣлъ около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи! — сказалъ онъ, поднимаясь и зѣвая. — Хотѣлъ было я разсказать вамъ нѣчто романтическое, меня касающееся, но вѣдь вы — географія! Начнешь вамъ о любви, а вы сейчасъ: „Въ какомъ году была битва при Калкѣ?“ Ну васъ къ чорту съ вашими битвами и съ Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досадуя, что онъ не объяснился еще съ Манюсей и что ему не съ кѣмъ теперь поговорить о своей любви, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и легъ на диванъ. Въ кабинетѣ было темно и тихо. Лежа и глядя въ потемки, Никитинъ сталъ почему-то думать о томъ, какъ черезъ два или три года онъ поѣдетъ зачѣмъ-нибудь въ Петербургъ, какъ Манюся будетъ провожать его на вокзалъ и плакать; въ Петербургѣ онъ получитъ отъ нея длинное

письмо, въ которомъ она будетъ умолять его скорѣе вернуться домой. И онъ напишетъ ей... Свое письмо начнетъ такъ: милая моя крыса...

— Именно, милая моя крыса, — сказалъ онъ и засмѣялся.

Ему было неудобно лежать. Онъ подложилъ руки подъ голову и задралъ лѣвую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тѣмъ окно начало замѣтно блѣднѣть, на дворѣ заголосили сонные пѣтухи... Никитинъ продолжалъ думать о томъ, какъ онъ вернется изъ Петербурга, какъ встрѣтитъ его на вокзалѣ Манюся и, вскрикнувъ отъ радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, онъ схитритъ: пріѣдетъ почью потихоньку, кухарка отворитъ ему, потомъ на цыпочкахъ пройдетъ онъ въ спальню, безшумно раздѣнется и — бултыхъ въ постель! А она проснется и — о радость!

Воздухъ совсѣмъ побѣлѣлъ. Кабинета и окна ужъ не было. На крылечкѣ пивовареннаго завода, того самаго, мимо котораго сегодня проѣзжали, сидѣла Манюся и что то говорила. Потомъ она взяла Никитина подъ-руку и пошла съ нимъ въ загородный садъ. Тутъ онъ увидѣлъ дубы и вороньи гнѣзда, похожія на шапки. Одно гнѣздо закачалось, выглянулъ изъ него Шебалдинъ и громко крикнулъ: „Вы не читали Лессинга!“

Никитинъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и открылъ глаза. Передъ диваномъ стоялъ Ипполитъ Ипполитычъ и, откинувъ назадъ голову, надѣвалъ галстукъ.

— Вставайте, пора на службу... — говорилъ онъ. — А въ одеждѣ спать нельзя. Отъ этого

одежда портится. Спать надо въ постели, раздѣвшись...

И онъ, по обыкновенію, сталъ длинно и съ разстановкой говорить о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно.

Первый урокъ у Никитина былъ по русскому языку, во второмъ классѣ. Когда онъ ровно въ девять часовъ вошелъ въ этотъ классъ, то здѣсь, на черной доскѣ, были написаны мѣломъ двѣ большія буквы: М. Ш. Это, вѣроятно, значило: Маша Шелестова.

„Ужъ пронюхали, подлецы... — подумалъ Никитинъ. — И откуда они все знаютъ?“

Второй урокъ по словесности былъ въ пятомъ классѣ. И тутъ на доскѣ было написано М. Ш., а когда онъ, кончивъ урокъ, выходилъ изъ этого класса, сзади него раздался крикъ, точно въ театральномъ райкѣ:

— Ура-а-а! Шелестова!!

Отъ спанья въ одеждѣ было не хорошо въ головѣ, тѣло изнемогало отъ лѣни. Ученики, каждый день ждавшіе роспуска передъ экзаменами, ничего не дѣлали, томились, шалили отъ скуки. Никитинъ тоже томился, не замѣчалъ шалостей и то и дѣло подходилъ къ окну. Ему была видна улица, ярко освѣщенная солнцемъ. Надъ домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, безконечная даль съ синѣющими рощами, съ дымкомъ отъ бѣгущаго поѣзда...

Вотъ по улицѣ въ тѣни акацій, играя хлыстиками, прошли два офицера въ бѣлыхъ кителяхъ...

Вотъ на линейкѣ проѣхала куча евреевъ съ сѣдыми бородами и въ картузахъ... Гувернантка гуляетъ съ директорскою внучкой... Пробѣжалъ куда-то Сомъ съ двумя дворняжками... А вотъ, въ простенькомъ сѣромъ платьѣ и въ красныхъ чулочкахъ, держа въ рукѣ „Вѣстникъ Европы", прошла Варя. Была должно-быть въ городской библіотекѣ...

А уроки кончатся еще не скоро — въ три часа! Послѣ же уроковъ нужно итти не домой и не къ Шелестовымъ, а къ Вольфу на урокъ. Этотъ Вольфъ, богатый еврей, принявшій лютеранство, не отдавалъ своихъ дѣтей въ гимназію, а приглашалъ къ нимъ гимназическихъ учителей, платя по пяти рублей за урокъ...

„Скучно, скучно, скучно!"

Въ три часа онъ пошелъ къ Вольфу и высидѣлъ у него, какъ ему показалось, цѣлую вѣчность. Вышелъ отъ него въ пять часовъ, а въ седьмомъ уже долженъ былъ итти въ гимназію, на педагогическій совѣтъ — составлять расписаніе устныхъ экзаменовъ для IV и VI классовъ!

Когда, поздно вечеромъ, шелъ онъ изъ гимназіи къ Шелестовымъ, сердце у него билось и лицо горѣло. Недѣлю и мѣсяцъ тому назадъ всякій разъ, собираясь объясниться, онъ приготовлялъ цѣлую рѣчь съ предисловіемъ и съ заключеніемъ, теперь же у него не было наготовѣ ни одного слова, въ головѣ все перепуталось, и онъ только зналъ, что сегодня онъ *навѣрное* объяснится и что дольше ждать нѣтъ никакой возможности.

„Я приглашу ее въ садъ, — обдумывалъ онъ, — немножко погуляю и объяснюсь"...

Въ передней не было ни души; онъ вошелъ въ залу, потомъ въ гостиную... Тутъ тоже никого не было. Слышно было, какъ наверху, во второмъ этажѣ, съ кѣмъ-то спорила Варя и какъ въ дѣтской звякала ножницами наемная швея.

Была въ домѣ комнатка, которая носила три названія: маленькая, проходная и темная... Въ ней стоялъ большой старый шкапъ съ медикаментами, съ порохомъ и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этажъ узкая деревянная лѣстничка, на которой всегда спали кошки. Были тутъ двери: одна — въ дѣтскую, другая — въ гостиную. Когда вошелъ сюда Никитинъ, чтобы отправиться наверхъ, дверь изъ дѣтской отворилась и хлопнула такъ, что задрожали и лѣстница и шкапъ; вбѣжала Манюся въ темномъ платьѣ, съ кускомъ синей матеріи въ рукахъ, и, не замѣчая Никитина, шмыгнула къ лѣстницѣ.

— Постойте...—остановилъ ее Никитинъ.—Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Онъ запыхался, не зналъ что говорить; одною рукой держалъ ее за руку, а другою — за синюю матерію.!. А она не то испугалась, не то удивилась и глядѣла на него большими глазами.

— Позвольте... — продолжалъ Никитинъ, боясь, чтобъ она не ушла. — Мнѣ нужно вамъ кое-что сказать... Только... здѣсь неудобно. Я не могу, не въ состояніи... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вотъ и все...

Синяя матерія упала на полъ, и Никитинъ взялъ Манюсю за другую руку... Она поблѣднѣла, зашевелила губами, потомъ попятилась назадъ отъ Ни-

китина и очутилась въ углу между стѣной и шкапомъ.

— Честное слово, увѣряю васъ... — сказалъ онъ тихо. — Манюся, честное слово...

Она откинула назадъ голову, а онъ поцѣловалъ ее въ губы и, чтобъ этотъ поцѣлуй продолжался дольше, онъ взялъ ее за щеки пальцами; и какъ-то такъ вышло, что самъ онъ очутился въ углу между шкапомъ и стѣной, а она обвила руками его шею и прижалась къ его подбородку головой.

Потомъ оба побѣжали въ садъ.

Садъ у Шелестовыхъ былъ большой, на двухъ десятинахъ... Тутъ росло съ два десятка старыхъ кленовъ и липъ, была одна ель, все же остальное составляли фруктовыя деревья: черешни, яблони, груши, дикій каштанъ, серебристая маслина... Много было и цвѣтовъ.

Никитинъ и Манюся молча бѣгали по аллеямъ, смѣялись, задавали изрѣдка другъ другу отрывистые вопросы, на которые не отвѣчали, а надъ садомъ свѣтилъ полумѣсяцъ, и на землѣ изъ темной травы, слабо освѣщенной этимъ полумѣсяцемъ, тянулись сонные тюльпаны и присы, точно прося, чтобы и съ ними объяснились въ любви...

Когда Никитинъ и Манюся вернулись въ домъ, офицеры и барышни были уже въ сборѣ и танцовали мазурку. Опять Полянскій водилъ по всѣмъ комнатамъ grand-rond, опять послѣ танцевъ играли въ судьбу... Передъ ужиномъ, когда гости пошли изъ залы въ столовую, Манюся, оставшись одна съ Никитинымъ, прижалась къ нему и сказала:

— Ты самъ поговори съ папой и Варей. Мнѣ стыдно...

Послѣ ужина онъ говорилъ со старикомъ. Выслушавъ его, Шелестовъ подумалъ и сказалъ:

— Очень вамъ благодаренъ за честь, которую вы оказываете мнѣ и дочери, но позвольте мнѣ поговорить съ вами по-дружески... Буду говорить съ вами не какъ отецъ, а какъ джентльменъ съ джентльменомъ. Скажите, пожалуйста, что вамъ за охота такъ рано жениться? Это только мужики женятся рано, но тамъ, извѣстно, хамство, а вы-то съ чего? Что за удовольствіе въ такіе молодые годы надѣвать на себя кандалы?

— Я вовсе не молодъ! — обидѣлся Никитинъ. — Мнѣ 27-й годъ.

— Папа, коновалъ пришелъ! — крикнула изъ другой комнаты Варя.

И разговоръ прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянскій. Когда подошли къ его калиткѣ, Варя сказала:

— Что это вашъ таинственный Митрополитъ Митрополитычъ никуда не показывается? Пусть бы къ намъ пришелъ.

Таинственный Ипполитъ Ипполитычъ, когда вошелъ къ нему Никитинъ, сидѣлъ у себя на постели и снималъ панталоны.

— Не ложитесь, голубчикъ! — сказалъ ему Никитинъ, задыхаясь. — Постойте, не ложитесь!

Ипполитъ Ипполитычъ быстро надѣлъ панталоны и спросилъ встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитинъ сѣлъ рядомъ съ товарищемъ и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себѣ, сказалъ:

— Представьте, женюсь! На Машѣ Шелестовой! Сегодня предложеніе сдѣлалъ.

— Что жъ? Она дѣвушка, кажется, хорошая... Только молода очень.

— Да, молода! — вздохнулъ Никитинъ и озабоченно пожалъ плечами. — Очень, очень молода!

— Она у меня въ гимназіи училась. Я ее знаю. По географіи училась ничего себѣ, а по исторіи — плохо. И въ классѣ была не внимательна.

Никитину вдругъ почему-то стало жаль своего товарища и захотѣлось сказать ему что-нибудь ласковое, утѣшительное...

— Голубчикъ, отчего вы не женитесь? — спросилъ онъ. — Ипполитъ Ипполитычъ, отчего бы вамъ, напримѣръ, на Варѣ не жениться? Это чудная, превосходная дѣвушка! Правда, очень любитъ спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчасъ про васъ спрашивала. Женитесь на ней, голубчикъ! А?

Онъ отлично зналъ, что Варя не пойдетъ за этого скучнаго курносаго человѣка, но все-таки убѣждалъ его жениться на ней... Зачѣмъ?

— Женитьба — шагъ серьезный... — сказалъ Ипполитъ Ипполитычъ, подумавъ. — Надо обсудить все, взвѣсить, а такъ нельзя... Благоразуміе никогда не мѣшаетъ, а въ особенности въ женитьбѣ, когда человѣкъ, переставъ быть холостымъ, начинаетъ новую жизнь...

И онъ заговорилъ о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно. Никитинъ не сталъ слушать его, про-

стился и пошелъ къ себѣ. Онъ быстро раздѣлся и быстро легъ, чтобы поскорѣе начать думать о своемъ счастіи, о Манюсѣ, о будущемъ, улыбнулся и вдругъ вспомнилъ, что онъ не читалъ еще Лессинга.

„Надо будетъ прочесть...—подумалъ онъ.—Впрочемъ, зачѣмъ мнѣ его читать? Ну его къ чорту!“

И утомленный своимъ счастьемъ, онъ тотчасъ же уснулъ и улыбался до самаго утра...

Снился ему стукъ лошадиныхъ копытъ о бревенчатый полъ; снилось, какъ изъ конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потомъ бѣлаго Великана, потомъ сестру его Майку...

II.

„Въ церкви было очень тѣсно и шумно, и разъ даже кто-то вскрикнулъ, и протоіерей, вѣнчавшій меня и Манюсю, взглянулъ черезъ очки на толпу и сказалъ сурово:

— „Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страхъ Божій имѣть.

„Шаферами у меня были два моихъ товарища, а у Мани — штабсъ-капитанъ Полянскій и поручикъ Гернетъ. Архіерейскій хоръ пѣлъ великолѣпно. Трескъ свѣчей, блескъ, наряды, офицеры, множество веселыхъ, довольныхъ лицъ и какой-то особенный, воздушный видъ у Мани, и вся вообще обстановка и слова вѣнчальныхъ молитвъ трогали меня до слезъ, наполняли торжествомъ. Я думалъ: какъ расцвѣла, какъ поэтически красиво сложилась въ послѣднее время моя жизнь! Два года на-

задъ я былъ еще студентомъ, жилъ въ дешевыхъ номерахъ на Неглинномъ, безъ денегъ, безъ родныхъ и, какъ казалось мнѣ тогда, безъ будущаго. Теперь же я – учитель гимназіи въ одномъ изъ лучшихъ губернскихъ городовъ, обезпеченъ, любимъ, избалованъ. Для меня вотъ, думалъ я, собралась теперь эта толпа, для меня горятъ три паникадила, реветъ протодьяконъ, стараются пѣвчіе, и для меня такъ молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое, немного погодя, будетъ называться моею женой. Я вспоминалъ первыя встрѣчи, наши поѣздки за городъ, объясненіе въ любви и погоду, которая, какъ нарочно, все лѣто была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинномъ представлялось мнѣ возможнымъ только въ романахъ и повѣстяхъ, теперь я испытывалъ на самомъ дѣлѣ, казалось, бралъ его руками.

„Послѣ вѣнчанія всѣ въ безпорядкѣ толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствіе, поздравляли и желали счастья. Бригадный генералъ, старикъ лѣтъ подъ семьдесятъ, поздравилъ одну только Манюсю и сказалъ ей старческимъ скрипучимъ голосомъ, такъ громко, что пронеслось по всей церкви:

— „Надѣюсь, милая, и послѣ свадьбы вы останетесь все такимъ же розáномъ.

„Офицеры, директоръ и всѣ учителя улыбнулись изъ приличія, и я тоже почувствовалъ на своемъ лицѣ пріятную неискреннюю улыбку. Милѣйшій Ипполитъ Ипполитовичъ, учитель исторіи и географіи, всегда говорящій то, что всѣмъ давно извѣстно, крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ съ чувствомъ:

— „До сихъ поръ вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоемъ.

„Изъ церкви поѣхали въ двухъэтажный нештукатуренный домъ, который я получаю теперь въ приданое. Кромѣ этого дома, за Маней деньгами тысячъ двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, гдѣ, какъ говорятъ, множество куръ и утокъ, которыя безъ надзора становятся дикими. По пріѣздѣ изъ церкви, я потягивался, развалясь у себя въ новомъ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ, и курилъ; мнѣ было мягко, удобно и уютно, какъ никогда въ жизни, а въ это время гости кричали ура, и въ передней плохая музыка играла туши и всякій вздоръ. Варя, сестра Мани, вбѣжала въ кабинетъ съ бокаломъ въ рукѣ и съ какимъ-то страннымъ, напряженнымъ выраженіемъ, точно у нея ротъ былъ полонъ воды; она, повидимому, хотѣла бѣжать дальше, но вдругъ захохотала и зарыдала, и бокалъ со звономъ покатился по полу. Мы подхватили ее подъ руки и увели.

— „Никто не можетъ понять! — бормотала она потомъ въ самой дальней комнатѣ, лежа на постели у кормилицы. — Никто, никто! Боже мой, никто не можетъ понять!

„Но всѣ отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужемъ и что плакала она не изъ зависти, а изъ грустнаго сознанія, что время ея уходитъ и, быть-можетъ, даже ушло. Когда танцовали кадриль, она была уже въ залѣ, съ заплаканнымъ, сильно напудреннымъ лицомъ, и я видѣлъ, какъ штабсъ-

капитанъ Полянскій держалъ передъ ней блюдечко съ мороженымъ, а она кушала ложечкой...

„Уже шестой часъ утра. Я взялся за дневникъ, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думалъ, что напишу листовъ шесть и завтра прочту Манѣ, но, странное дѣло, у меня въ головѣ все перепуталось, стало не ясно, какъ сонъ, и мнѣ припоминается рѣзко только этотъ эпизодъ съ Варей и хочется написать: бѣдная Варя! Вотъ такъ бы все сидѣлъ и писалъ: бѣдная Варя! Кстати же зашумѣли деревья: будетъ дождь; каркаютъ вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо“.

Потомъ Никитинъ долго не трогалъ своего дневника. Въ первыхъ числахъ августа начались у него переэкзаменовки и пріемные экзамены, а послѣ Успеньева дня — классныя занятія. Обыкновенно въ девятомъ часу утра онъ уходилъ на службу и уже въ десятомъ начиналъ тосковать по Манѣ и по своемъ новомъ домѣ и посматривать на часы. Въ низшихъ классахъ онъ заставлялъ кого-нибудь изъ мальчиковъ диктовать и, пока дѣти писали, сидѣлъ на подоконникѣ съ закрытыми глазами и мечталъ; мечталъ ли онъ о будущемъ, вспоминалъ ли о прошломъ, — все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. Въ старшихъ классахъ читали вслухъ Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, въ воображеніи выростали люди, деревья, поля, верховыя лошади, и онъ говорилъ со вздохомъ, какъ бы восхищаясь авторомъ:

— Какъ хорошо!

Во время большой перемѣны Маня присылала ему завтракъ въ бѣлой, какъ снѣгъ, салфеточкѣ, и онъ съѣдалъ его медленно, съ разстановкой, чтобы продлить наслажденіе, а Ипполитъ Ипполитовичъ, обыкновенно завтракавшій одною только булкой, смотрѣлъ на него съ уваженіемъ и съ завистью и говорилъ что-нибудь извѣстное, въ родѣ:

— Безъ пищи люди не могутъ существовать.

Изъ гимназіи Никитинъ шелъ на частные уроки и когда, наконецъ, въ шестомъ часу возвращался домой, то чувствовалъ и радость и тревогу, какъ будто не былъ дома цѣлый годъ. Онъ вбѣгалъ по лѣстницѣ, запыхавшись, находилъ Маню, обнималъ ее, цѣловалъ и клялся, что любитъ ее, жить безъ нея не можетъ, увѣрялъ, что страшно соскучился, и со страхомъ спрашивалъ ее, здорова ли она и отчего у нея такое невеселое лицо. Потомъ вдвоемъ обѣдали. Послѣ обѣда онъ ложился въ кабинетѣ на диванъ и курилъ, а она садилась возлѣ и разсказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда онъ съ утра до вечера оставался дома. Въ эти дни онъ принималъ участіе въ наивной, но необыкновенно пріятной жизни, напоминавшей ему пастушескія идилліи. Онъ не переставая наблюдалъ, какъ его разумная и положительная Маня устраивала гнѣздо, и самъ тоже, желая показать, что онъ не лишній въ домѣ, дѣлалъ что-нибудь безполезное, напримѣръ, выкатывалъ изъ сарая шарабанъ и оглядывалъ его со всѣхъ сторонъ. Манюся завела отъ трехъ коровъ настоящее молочное хозяйство, и у нея въ погребѣ

и на погребицѣ было много кувшиновъ съ молокомъ и горшечковъ со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитинъ просилъ у нея стаканъ молока; она пугалась, такъ какъ это былъ непорядокъ, но онъ со смѣхомъ обнималъ ее и говорилъ:

— Ну, ну, я пошутилъ, золото мое! Пошутилъ!

Или же онъ посмѣивался надъ ея педантизмомъ, когда она, напримѣръ, найдя въ шкапу завалящій, твердый, какъ камень, кусочекъ колбасы или сыру, говорила съ важностью:

— Это съѣдятъ въ кухнѣ.

Онъ замѣчалъ ей, что такой маленькій кусочекъ годится только въ мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимаютъ въ хозяйствѣ и что прислугу ничѣмъ не удивишь, пошли ей въ кухню хоть три пуда закусокъ, и онъ соглашался и въ восторгѣ обнималъ ее. То, что въ ея словахъ было справедливо, казалось ему необыкновеннымъ, изумительнымъ; то же, что расходилось съ его убѣжденіями, было, по его мнѣнію, наивно и умилительно.

Иногда на него находилъ философскій стихъ, и онъ начиналъ разсуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрѣла ему въ лицо съ любопытствомъ.

— Я безконечно счастливъ съ тобой, моя радость, — говорилъ онъ, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю какъ на нѣчто такое, что свалилось на меня случайно, точно съ неба. Это счастье — явленіе вполнѣ естественное, послѣдо-

вательное, логически вѣрное. Я вѣрю въ то, что человѣкъ есть творецъ своего счастья, и теперь я беру именно то, что я самъ создалъ. Да, говорю безъ жеманства, это счастье создалъ я самъ и владѣю имъ по праву. Тебѣ извѣстно мое прошлое. Сиротство, бѣдность, несчастное дѣтство, тоскливая юность,—все это борьба, это путь, который я прокладывалъ къ счастью...

Въ октябрѣ гимназія понесла тяжелую потерю: Ипполитъ Ипполитовичъ заболѣлъ рожей головы и скончался. Два послѣднихъ дня передъ смертью онъ былъ въ безсознательномъ состояніи и бредилъ, но и въ бреду говорилъ только то, что всѣмъ извѣстно:

— Волга впадаетъ въ Каспійское море... Лошади кушаютъ овесъ и сѣно...

Въ тотъ день, когда его хоронили, ученія въ гимназіи не было. Товарищи и ученики несли крышку и гробъ, и гимназическій хоръ всю дорогу до кладбища пѣлъ „Святый Боже". Въ процессіи участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназія и архіерейскій хоръ въ парадныхъ кафтанахъ. И глядя на торжественныя похороны, встрѣчные прохожіе крестились и говорили:

— Дай Богъ всякому такъ помереть.

Вернувшись съ кладбища домой, растроганный Никитинъ отыскалъ въ столѣ свой дневникъ и написалъ:

„Сейчасъ опустили въ могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкаго.

„Миръ праху твоему, скромный труженикъ! Маня,

Варя и всѣ женщины, бывшія на похоронахъ, искренно плакали, быть-можетъ, оттого, что знали, что этого неинтереснаго, забитаго человѣка не любила никогда ни одна женщина. Я хотѣлъ сказать на могилѣ товарища теплое слово, но меня предупредили, что это можетъ не понравиться директору, такъ какъ онъ не любилъ покойнаго. Послѣ свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душѣ...“

Затѣмъ во весь учебный сезонъ не было никакихъ особенныхъ событій.

Зима была вялая, безъ морозовъ, съ мокрымъ снѣгомъ; подъ Крещенье, напримѣръ, всю ночь вѣтеръ жалобно вылъ по-осеннему, и текло съ крышъ, а утромъ во время водосвятія полиція не пускала никого на рѣку, такъ какъ, говорили, ледъ надулся и потемнѣлъ. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось такъ же счастливо, какъ и лѣтомъ. Даже еще прибавилось одно лишнее развлеченіе: онъ научился играть въ винтъ. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мѣшало ему быть вполнѣ счастливымъ: это кошки и собаки, которыхъ онъ получилъ въ приданое. Въ комнатахъ всегда, особенно по утрамъ, пахло какъ въ звѣринцѣ, и этого запаха ничѣмъ нельзя было заглушить; кошки часто дрались съ собаками. Злую Мушку кормили по десяти разъ въ день, она попрежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

— Ррр... нга-нга-нга...

Какъ-то Великимъ постомъ въ полночь возвращался онъ домой изъ клуба, гдѣ игралъ въ карты.

Шелъ дождь, было темно и грязно. Никитинъ чувствовалъ на душѣ непріятный осадокъ и никакъ не могъ понять, отчего это: оттого ли, что онъ проигралъ въ клубѣ двѣнадцать рублей, или оттого, что одинъ изъ партнеровъ, когда расплачивались, сказалъ, что у Никитина куры денегъ не клюютъ, очевидно, намекая на приданое? Двѣнадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержали въ себѣ ничего обиднаго, но все-таки было непріятно. Даже домой не хотѣлось.

— Фуй, какъ нехорошо! — проговорилъ онъ, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло въ голову, что двѣнадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даромъ. Вотъ если бы онъ былъ работникомъ, то зналъ бы цѣну каждой копейкѣ и не былъ бы равнодушенъ къ выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, разсуждалъ онъ, досталось ему даромъ, понапрасну и, въ сущности, было для него такою же роскошью, какъ лѣкарство для здороваго; если бы онъ, подобно громадному большинству людей, былъ угнетенъ заботой о кускѣ хлѣба, боролся за существованіе, если бы у него болѣли спина и грудь отъ работы, то ужинъ, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшеніемъ его жизни; теперь же все это имѣло какое-то странное, неопредѣленное значеніе.

— Фуй, какъ нехорошо!—повторилъ онъ, отлично понимая, что эти разсужденія сами по себѣ уже дурной знакъ.

Когда онъ пришелъ домой, Маня была въ постели. Она ровно дышала и улыбалась и, повидимому,

спала съ большимъ удовольствіемъ. Возлѣ нея, свернувшись клубочкомъ, лежалъ бѣлый котъ и мурлыкалъ. Пока Никитинъ зажигалъ свѣчу и закуривалъ, Маня проснулась и съ жадностью выпила стаканъ воды.

— Мармеладу наѣлась, — сказала она и засмѣялась. — Ты у нашихъ былъ? — спросила она, помолчавъ.

— Нѣтъ, не былъ.

Никитинъ уже зналъ, что штабсъ-капитанъ Полянскій, на котораго въ послѣднее время сильно разсчитывала Варя, получилъ переводъ въ одну изъ западныхъ губерній и уже дѣлалъ въ городѣ прощальные визиты, и поэтому въ домѣ тестя было скучно.

— Вечеромъ заходила Варя, — сказала Маня, садясь. — Она ничего не говорила, но по лицу видно, какъ ей тяжело, бѣдняжкѣ. Терпѣть не могу Полянскаго. Толстый, обрюзгъ, а когда ходитъ или танцуетъ, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочнымъ человѣкомъ.

— Я и теперь считаю его порядочнымъ.

— А зачѣмъ онъ такъ дурно поступилъ съ Варей?

— Почему же дурно? — спросилъ Никитинъ, начиная чувствовать раздраженіе противъ бѣлаго кота, который потягивался, выгнувъ спину. — Насколько мнѣ извѣстно, онъ предложенія не дѣлалъ и обѣщаній никакихъ не давалъ.

— А зачѣмъ онъ часто бывалъ въ домѣ? Если не намѣренъ жениться, то не ходи.

Никитинъ потушилъ свѣчу и легъ. Но не хотѣлось ни спать ни лежать. Ему казалось, что голова

у него громадная и пустая, какъ амбаръ, и что въ ней бродятъ новыя какія-то особенныя мысли въ видѣ длинныхъ тѣней. Онъ думалъ о томъ, что кромѣ мягкаго лампаднаго свѣта, улыбающагося тихому семейному счастью, кромѣ этого мірка, въ которомъ такъ спокойно и сладко живется ему и вотъ этому коту, есть вѣдь еще другой міръ... И ему страстно, до тоски вдругъ захотѣлось въ этотъ другой міръ, чтобы самому работать гдѣ-нибудь на заводѣ или въ большой мастерской, говорить съ каѳедры, сочинять, печатать, шумѣть, утомляться, страдать... Ему захотѣлось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвенія самого себя, до равнодушія къ личному счастью, ощущенія котораго такъ однообразны... И въ воображеніи вдругъ, какъ живой, выросъ бритый Шебалдинъ и проговорилъ съ ужасомъ:

— Вы не читали даже Лессинга! Какъ вы отстали! Боже, какъ вы опустились!

Маня опять стала пить воду. Онъ взглянулъ на ея шею, полныя плечи и грудь и вспомнилъ слово, которое когда-то въ церкви сказалъ бригадный генералъ: розанъ.

— Розанъ, — пробормоталъ онъ и засмѣялся.

Въ отвѣтъ ему подъ кроватью заворчала сонная Мушка:

— Ррр... нга-нга-нга...

Тяжелая злоба, точно холодный молотокъ, повернулась въ его душѣ, и ему захотѣлось сказать Манѣ что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебіеніе.

— Такъ значитъ, — спросилъ онъ, сдерживая

себя, — если я ходилъ къ вамъ въ домъ, то непремѣнно долженъ былъ жениться на тебѣ?

— Конечно. Ты самъ это отлично понимаешь.

— Мило.

И черезъ минуту опять повторилъ:

— Мило.

Чтобы не сказать лишняго и успокоить сердце, Никитинъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и легъ на диванъ безъ подушки, потомъ полежалъ на полу, на коврѣ.

„Какой вздоръ! — успокоивалъ онъ себя. — Ты — педагогъ, работаешь на благороднѣйшемъ поприщѣ... Какого же тебѣ еще нужно другого міра? Что за чепуха!“

Но тотчасъ же онъ съ увѣренностью говорилъ себѣ, что онъ вовсе не педагогъ, а чиновникъ, такой же бездарный и безличный, какъ чехъ, преподаватель греческаго языка; никогда у него не было призванія къ учительской дѣятельности, съ педагогіей онъ знакомъ не былъ и ею никогда не интересовался, обращаться съ дѣтьми не умѣетъ; значеніе того, что онъ преподавалъ, было ему неизвѣстно и, быть-можетъ, даже онъ училъ тому, что не нужно. Покойный Ипполитъ Ипполитовичъ былъ откровенно тупъ, и всѣ товарищи и ученики знали, кто онъ и чего можно ждать отъ него; онъ же, Никитинъ, подобно чеху, умѣетъ скрывать свою тупость и ловко обманываетъ всѣхъ, дѣлая видъ, что у него, слава Богу, все идетъ хорошо. Эти новыя мысли пугали Никитина, онъ отказывался отъ нихъ, называлъ ихъ глупыми и вѣрилъ, что

все это отъ нервовъ, что самъ же онъ будетъ смѣяться надъ собой...

И въ самомъ дѣлѣ, подъ утро онъ уже смѣялся надъ своею нервностью и называлъ себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерянъ, вѣроятно, навсегда и что въ двухъэтажномъ нештукатуренномъ домѣ счастье для него уже невозможно. Онъ догадывался, что иллюзія изсякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не въ ладу съ покоемъ и личнымъ счастьемъ.

На другой день, въ воскресенье, онъ былъ въ гимназической церкви и видѣлся тамъ съ директоромъ и товарищами. Ему казалось, что всѣ они были заняты только тѣмъ, что тщательно скрывали свое невѣжество и недовольство жизнью, и самъ онъ, чтобы не выдать имъ своего безпокойства, пріятно улыбался и говорилъ о пустякахъ. Потомъ онъ ходилъ на вокзалъ и видѣлъ тамъ, какъ пришелъ и ушелъ почтовый поѣздъ, и ему пріятно было, что онъ одинъ и что ему не нужно ни съ кѣмъ разговаривать.

Дома засталъ онъ тестя и Варю, которые пришли къ нему обѣдать. Варя была съ заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестовъ ѣлъ очень много и говорилъ о томъ, какъ теперешніе молодые люди ненадежны и какъ мало въ нихъ джентльменства.

— Это хамство! — говорилъ онъ. — Такъ я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитинъ пріятно улыбался и помогалъ Манѣ угощать гостей, но послѣ обѣда пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся.

Мартовское солнце свѣтило ярко, и сквозь оконныя стекла падали на столъ горячіе лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ѣздили на колесахъ, и въ саду шумѣли скворцы. Похоже было на то, что сейчасъ вотъ выйдетъ Манюся, обниметъ одною рукой за шею и скажетъ, что подали къ крыльцу верховыхъ лошадей или шарабанъ, и спроситъ, что ей надѣть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, какъ и въ прошломъ году, и обѣщала тѣ же радости... Но Никитинъ думалъ о томъ, что хорошо бы взять теперь отпускъ и уѣхать въ Москву и остановиться тамъ на Неглинномъ въ знакомыхъ номерахъ. Въ сосѣдней комнатѣ пили кофе и говорили о штабсъ-капитанѣ Полянскомъ, а онъ старался не слушать и писалъ въ своемъ дневникѣ: „Гдѣ я, Боже мой?! Меня окружаетъ пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшечки со сметаной, кувшины съ молокомъ, тараканы, глупыя женщины... Нѣтъ ничего страшнѣе, оскорбительнѣе, тоскливѣе пошлости. Бѣжать отсюда, бѣжать сегодня же, иначе я сойду съ ума!“

Въ усадьбѣ.

Павелъ Ильичъ Рашевичъ ходилъ, мягко ступая по полу, покрытому малороссійскими плахтами, и бросая длинную узкую тѣнь на стѣну и потолокъ, а его гость Мейеръ, исправляющій должность судебнаго слѣдователя, сидѣлъ на турецкомъ диванѣ, поджавъ подъ себя одну ногу, курилъ и слушалъ. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, какъ въ комнатѣ, сосѣдней съ кабинетомъ, накрывали на столъ.

— Какъ хотите-съ, — говорилъ Рашевичъ, — съ точки зрѣнія братства, равенства и прочее, свинопасъ Митька, пожалуй, такой же человѣкъ, какъ Гёте или Фридрихъ Великій; но станьте вы на научную почву, имѣйте мужество заглянуть фактамъ прямо въ лицо, и для васъ станетъ очевиднымъ, что бѣлая кость — не предразсудокъ, не бабья выдумка. Бѣлая кость, дорогой мой, имѣетъ естественно-историческое оправданіе, и отрицать ее, по-моему, такъ же странно, какъ отрицать рога у оленя. Надо считаться съ фактами! Вы — юристъ и не вкусили никакихъ другихъ наукъ, кромѣ гуманитарныхъ, и вы еще можете обольщать себя иллюзіями насчетъ равенства, братства и прочее; я же — неисправимый дарвинистъ, и для меня такія слова, какъ порода, аристократизмъ, благородная кровь, — не пустые звуки.

Рашевичъ былъ возбужденъ и говорилъ съ чув-

ствомъ. Глаза у него блестѣли, pince-nez не держалось на носу, онъ нервно подергивалъ плечами, подмигивалъ, а при словѣ „дарвинистъ“ молодцовато поглядѣлся въ зеркало и обѣими руками расчесалъ свою сѣдую бороду. Онъ былъ одѣтъ въ очень короткій поношенный пиджакъ и узкія брюки; быстрота движеній, молодцоватость и этотъ кургузый пиджакъ какъ-то не шли къ нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архіерея или маститаго поэта, была приставлена къ туловищу высокаго худощаваго и манернаго юноши. Когда онъ широко разставлялъ ноги, то длинная тѣнь его походила на ножницы.

Вообще онъ любилъ поговорить, и всегда ему казалось, что онъ говоритъ нѣчто новое и оригинальное. Въ присутствіи же Мейера онъ чувствовалъ необыкновенный подъемъ духа и наплывъ мыслей. Слѣдователь былъ ему симпатиченъ и вдохновлялъ его своею молодостью, здоровьемъ, прекрасными манерами, солидностью, а главное — своимъ сердечнымъ отношеніемъ къ нему и къ его семьѣ. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, какъ было извѣстно ему, разсказывали про него, будто онъ разговорами вогналъ въ гробъ свою жену, и называли его за глаза ненавистникомъ и жабой. Одинъ только Мейеръ, человѣкъ новый и непредубѣжденный, бывалъ у него часто и охотно и даже гдѣ-то говорилъ, что Рашевичъ и его дочери — единственные люди въ уѣздѣ, у которыхъ онъ чувствуетъ себя тепло, какъ у родныхъ. Нравился онъ Рашевичу также и за то, что

былъ молодымъ человѣкомъ, который могъ бы составить хорошую партію для Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственнаго голоса и съ удовольствіемъ поглядывая на умѣренно полнаго, красиво подстриженнаго, приличнаго Мейера, Рашевичъ мечталъ о томъ, какъ онъ пристроитъ свою Женю за хорошаго человѣка, и какъ потомъ всѣ заботы по имѣнію перейдутъ къ зятю. Непріятныя заботы! Проценты въ банкъ не взнесены уже за два срока, и разныхъ недоимокъ и пеней скопилось больше двухъ тысячъ!

— Для меня не подлежитъ сомнѣнію, — продолжалъ Рашевичъ, все больше вдохновляясь, — что если какой-нибудь Ричардъ Львиное Сердце или Фридрихъ Барбаросса, положимъ, храбръ и великодушенъ, то эти его качества передаются по наслѣдству его сыну вмѣстѣ съ извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушіе охраняются въ сынѣ путемъ воспитанія и упражненія, и если онъ женится на принцессѣ, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и такъ далѣе, пока не становятся видовою особенностью и не переходятъ органически, такъ сказать, въ плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородныя фамиліи инстинктивно охраняли себя отъ неравныхъ браковъ, и знатные молодые люди не женились чортъ знаетъ на комъ, высокія душевныя качества передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе во всей ихъ чистотѣ, охранялись и съ теченіемъ времени черезъ упражненіе становились все совершеннѣе и

выше. Тѣмъ, что у человѣчества есть хорошаго, мы обязаны именно природѣ, правильному естественно-историческому, цѣлесообразному ходу вещей, старательно, въ продолженіе вѣковъ обособлявшему бѣлую кость отъ черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркинъ сынъ, далъ намъ литературу, науку, искусства, право, понятія о чести, долгѣ... Всѣмъ этимъ человѣчество обязано исключительно бѣлой кости, и въ этомъ смыслѣ, съ точки зрѣнія естественно-исторической, плохой Собакевичъ, только потому, что онъ бѣлая кость, полезнѣе и выше, чѣмъ самый лучшій купецъ, хотя бы этотъ послѣдній построилъ пятнадцать музеевъ. Какъ хотите-съ! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его съ собой за столъ, то этимъ самымъ я охраняю лучшее, что есть на землѣ, и исполняю одно изъ высшихъ предначертаній матери-природы, ведущей насъ къ совершенству...

Рашевичъ остановился, расчесывая бороду обѣими руками; остановилась на стѣнѣ и его тѣнь похожая на ножницы.

— Возьмите вы нашу матушку-Расею, — продолжалъ онъ, заложивъ руки въ карманъ и становясь то на каблуки, то на носки.—Кто ея лучшіе люди? Возьмите нашихъ первоклассныхъ художниковъ, литераторовъ, композиторовъ... Кто они? Все это, дорогой мой, были представители бѣлой кости. Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Толстой — не дьячковскія дѣти-съ!

— Гончаровъ былъ купецъ, — сказалъ Мейеръ.

— Что жъ? Исключенія только подтверждаютъ

правило. Да и насчетъ геніальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставимъ имена и вернемся къ фактамъ. Что вы, напримѣръ, скажете, сударь мой, насчетъ такого краснорѣчиваго факта: какъ только чумазый полѣзъ туда, куда его прежде не пускали — въ высшій свѣтъ, въ науку, въ литературу, въ земство, въ судъ, то, замѣтьте, за высшія человѣческія права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой ордѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ только чумазый полѣзъ не въ свои сани, то сталъ киснуть, чахнуть, сходить съ ума и вырождаться, и нигдѣ вы не встрѣтите столько неврастениковъ, психическихъ калѣкъ, чахоточныхъ и всякихъ заморышей, какъ среди этихъ голубчиковъ. Мрутъ какъ осеннія мухи. Если бы не это спасительное вырожденіе, то отъ нашей цивилизаціи давно бы уже не осталось камня на камнѣ, все слопалъ бы чумазый. Вы скажите мнѣ, сдѣлайте милость: что до сихъ поръ дало намъ это нашествіе? Что принесъ съ собой чумазый? — Рашевичъ сдѣлалъ таинственное, испуганное лицо и продолжалъ:—Никогда еще наша наука и литература не находились на такомъ низкомъ уровнѣ, какъ теперь! У нынѣшнихъ, сударь мой, ни идей ни идеаловъ, и вся ихъ дѣятельность проникнута однимъ духомъ: какъ бы побольше содрать и съ кого бы снять послѣднюю рубашку. Всѣхъ этихъ нынѣшнихъ, которые выдаютъ себя за передовыхъ и честныхъ людей, вы можете купить за рубль-цѣлковый, и современный интеллигентъ отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите съ нимъ, то должны

покрѣпче держаться за карманъ, а то вытащитъ бумажникъ. — Рашевичъ подмигнулъ и захохоталъ. — Ей Богу вытащитъ! — проговорилъ онъ радостно тонкимъ голоскомъ. — А нравственность? Нравственность какова? — Рашевичъ оглянулся на дверь. — Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадываетъ и покидаетъ мужа, — это что, пустяки! Нынче, батенька, двѣнадцатилѣтняя дѣвчонка норовитъ уже имѣть любовника, и всѣ эти любительскіе спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцѣпить богатаго кулака и пойти къ нему на содержаніе... Матери продаютъ своихъ дочерей, а у мужей прямо такъ и спрашиваютъ, по какой цѣнѣ продаются ихъ жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

Мейеръ, все время молчавшій и сидѣвшій неподвижно, вдругъ поднялся съ дивана и посмотрѣлъ на часы.

— Виноватъ, Павелъ Ильичъ, — сказалъ онъ, — мнѣ уже пора домой.

Но Павелъ Ильичъ, который еще не кончилъ говорить, обнялъ его и, насильно усаживая на диванъ, поклялся, что не отпуститъ его безъ ужина. И Мейеръ опять сидѣлъ и слушалъ, но уже посматривалъ на Рашевича съ недоумѣніемъ и тревогой, какъ будто только теперь начиналъ понимать его. Красныя пятна выступили у него на лицѣ. И когда, наконецъ, вошла горничная и сказала, что барышни просятъ ужинать, онъ легко вздохнулъ и первый вышелъ изъ кабинета.

Въ сосѣдней комнатѣ за столомъ сидѣли дочери

Рашевича, Женя и Ираида, 24 и 22-хъ лѣтъ, обѣ черноглазыя, очень блѣдныя, одинаковаго роста. Женя съ распущенными волосами, а Ираида съ высокою прической. Передъ тѣмъ какъ ѣсть обѣ выпили по рюмкѣ горькой настойки, съ такимъ видомъ, какъ будто онѣ это выпили нечаянно, первый разъ въ жизни, и обѣ сконфузились и захохотали.

— Не шалите, дѣвочки, — сказалъ Рашевичъ.

Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а съ отцомъ и гостемъ по-русски. Перебивая другъ друга и мѣшая русскую рѣчь съ французской, онѣ стали быстро разсказывать, какъ именно въ эту пору, въ августѣ, онѣ въ прежніе годы уѣзжали въ институтъ и какъ это было весело. Теперь же ѣхать некуда и приходится жить въ усадьбѣ безвыѣздно все лѣто и зиму. Какая скука!

— Не шалите, дѣвочки, — повторилъ Рашевичъ.

Ему самому хотѣлось говорить. Если при немъ говорили другіе, то онъ испытывалъ чувство, похожее не ревность.

— Такія-то дѣла, дорогой мой... — началъ онъ опять, ласково глядя на слѣдователя.—Мы по добротѣ и простотѣ и изъ страха, чтобы насъ не заподозрили въ отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповѣдуемъ братство и равенство съ кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидѣли бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сдѣлали то, что цивилизація виситъ уже на волоскѣ. Дорогой мой! То, что вѣками добывали наши предки, не сегодня—завтра будетъ поругано и истреблено этими новѣйшими гуннами...

Послѣ ужина всѣ пошли въ гостиную. Женя и Ирина зажгли свѣчи на рояли, приготовили ноты... Но отецъ все продолжалъ говорить, и неизвѣстно было, когда онъ кончитъ. Онѣ уже съ тоской и досадой смотрѣли на эгоиста-отца, для котораго, очевидно, удовольствіе побалтать и блеснуть своимъ умомъ было дороже и важнѣе, чѣмъ счастье дочерей. Мейеръ — единственный молодой человѣкъ, который бывалъ въ ихъ домѣ, бывалъ — онѣ это знали — ради ихъ милаго женскаго общества, но неугомонный старикъ завладѣлъ имъ и не отпускалъ его отъ себя ни на шагъ.

— Подобно тому, какъ западные рыцари отразили нападеніе монголовъ, такъ и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага, — продолжалъ Рашевичъ тономъ проповѣдника, поднимая вверхъ правую руку. — Пусть я явлюсь передъ чумазымъ не какъ Павелъ Ильичъ, а какъ грозный и сильный Ричардъ Львиное Сердце. Перестанемъ же деликатничать съ нимъ, довольно! Давайте мы всѣ сговоримся, что едва близко подойдетъ къ намъ чумазый, какъ мы бросимъ ему прямо въ харю слова пренебреженія: „руки прочь! сверчокъ, знай свой шестокъ!“ Прямо въ харю! — продолжалъ Рашевичъ съ восторгомъ, тыча впередъ себя согнутымъ пальцемъ. — Въ харю! Въ харю!

— Я не могу этого, — проговорилъ Мейеръ, отворачиваясь.

— Почему же? — живо спросилъ Рашевичъ, предчувствуя интересный и продолжительный споръ. — Почему же?

— Потому, что я самъ мѣщанинъ.

Сказавши это, Мейеръ покраснѣлъ, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестѣли на глазахъ.

— Мой отецъ былъ простымъ рабочимъ, — добавилъ онъ грубымъ, отрывистымъ голосомъ, - но я въ этомъ не вижу ничего дурного.

Рашевичъ страшно смутился и ошеломленный, точно пойманный на мѣстѣ преступленія, растерянно смотрѣлъ на Мейера и не зналъ что сказать. Женя и Ираида покраснѣли и нагнулись къ нотамъ; имъ было стыдно за своего безтактнаго отца. Минута прошла въ молчаніи, и стало невыносимо совѣстно, когда вдругъ какъ-то болѣзненно, натянуто и некстати прозвучали въ воздухѣ слова:

— Да, я мѣщанинъ и горжусь этимъ.

Затѣмъ Мейеръ, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошелъ въ переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

— А вамъ будетъ сегодня темненько ѣхать, — бормоталъ Рашевичъ, идя за нимъ. — Луна теперь поздно восходитъ.

Оба стояли на крыльцѣ въ потемкахъ и ждали, когда подадутъ лошадей. Было прохладно.

— Звѣзда упала...—проговорилъ Мейеръ, кутаясь въ пальто.

— Въ августѣ ихъ много падаетъ.

Когда подали лошадей, Рашевичъ поглядѣлъ внимательно на небо и сказалъ со вздохомъ:

— Явленіе, достойное пера Фламмаріона...

Проводивъ гостя, онъ прошелся по саду, жестикулируя въ потемкахъ руками и не желая вѣрить, что только что произошло такое странное, глупое недоразумѣніе. Ему было стыдно и досадно на себя.

Во-первыхъ, съ его стороны было крайне неосторожно и безтактно поднимать этотъ проклятый разговоръ о бѣлой кости, не узнавши предварительно, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло; нѣчто подобное съ нимъ уже случалось раньше; какъ-то въ вагонѣ онъ сталъ бранить нѣмцевъ, и потомъ оказалось, что всѣ его собесѣдники—нѣмцы. Во-вторыхъ, онъ чувствовалъ, что Мейеръ уже больше не пріѣдетъ къ нему. Эти интеллигенты, вышедшіе изъ народа, болѣзненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

— Не хорошо, не хорошо...—бормоталъ Рашевичъ, отплевываясь; ему было неловко и противно, какъ будто онъ поѣлъ мыла.—Ахъ, не хорошо!

Въ окно изъ сада видно было, какъ въ гостиной около рояля Женя съ распущенными волосами, очень блѣдная, испуганная, говорила о чемъ-то быстро-быстро... Ираида ходила изъ угла въ уголъ, задумавшись; но вотъ и она заговорила, тоже быстро, съ негодующимъ лицомъ. Говорили обѣ разомъ. Не было слышно ни одного слова, но Рашевичъ догадывался, о чемъ онѣ говорили. Женя, вѣроятно, роптала на то, что отецъ своими разговорами отвадилъ отъ дома всѣхъ порядочныхъ людей и сегодня отнялъ у нихъ единственнаго знакомаго, быть-можетъ, жениха, и теперь уже у бѣднаго молодого человѣка во всемъ уѣздѣ нѣтъ мѣста, гдѣ онъ могъ бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она съ отчаяніемъ поднимала вверхъ руки, говорила, вѣроятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости...

Пріидя къ себѣ въ комнату, Рашевичъ сѣлъ на кровать и сталъ медленно раздѣваться. Состояніе

духа было угнетенное, и томило все то же чувство, какъ будто онъ поѣлъ мыла... Было стыдно. Раздѣвшись, онъ поглядѣлъ на свои длинныя жилистыя старческія ноги и вспомнилъ, что въ уѣздѣ его прозвали жабой и что послѣ всякаго длиннаго разговора ему бывало стыдно. Какъ-то такъ, роковымъ образомъ выходило, что начиналъ онъ мягко, ласково, съ добрыми намѣреніями, называя себя старымъ студентомъ, идеалистомъ, Донъ-Кихотомъ, но незамѣтно для самого себя мало-по-малу переходилъ на брань и клевету и, что̀ удивительнѣе всего, самымъ искреннимъ образомъ критиковалъ науку, искусства и нравы, хотя вотъ уже двадцать лѣтъ прошло, какъ не прочелъ онъ ни одной книжки, не былъ нигдѣ дальше губернскаго города и въ сущности не зналъ, что̀ происходитъ на бѣломъ свѣтѣ. Если же онъ садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и въ письмѣ выходила брань. И все это странно потому, что на самомъ дѣлѣ онъ чувствительный, слезливый человѣкъ. Ужъ не сидитъ ли въ немъ нечистый духъ, который ненавидитъ и клевещетъ въ немъ помимо его воли?

— Не хорошо...—вздыхалъ онъ, лежа подъ одѣяломъ. — Не хорошо!

Дочери тоже не спали. Послышались хохотъ и крикъ, какъ будто за кѣмъ-то гнались: это съ Женей сдѣлалась истерика. Немного погодя зарыдала и Ираида. По коридору нѣсколько разъ пробѣжала босая горничная...

— Экая исторія, Господи...—бормоталъ Рашевичъ, вздыхая и поворачиваясь съ боку на бокъ.—Не хорошо!

Во снѣ давилъ его кошмаръ. Приснилось ему, будто самъ онъ, голый, высокій, какъ жирафъ, стоитъ среди комнаты и говоритъ, тыча впередъ себя пальцемъ:

— Въ харю! Въ харю! Въ харю!

Онъ проснулся въ испугѣ и прежде всего вспомнилъ, что вчера произошло недоразумѣніе, и что Мейеръ, конечно, уже больше не пріѣдетъ. Вспомнилъ онъ также, что надо проценты платить въ банкъ, дочерей замужъ выдавать, надо ѣсть, пить, а тутъ болѣзни, старость, непріятности, скоро зима дровъ нѣтъ...

Былъ уже десятый часъ утра. Рашевичъ медленно одѣлся, напился чаю и съѣлъ два большихъ ломтя хлѣба съ масломъ. Дочери не вышли къ чаю; онѣ не хотѣли встрѣчаться съ нимъ, и это оскорбляло его. Онъ полежалъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, потомъ сѣлъ за столъ и принялся писать дочерямъ письмо. Рука у него дрожала и чесались глаза. Онъ писалъ о томъ, что онъ уже старъ, никому не нуженъ и что его никто не любитъ, и просилъ дочерей забыть о немъ и, когда онъ умретъ, похоронить его въ простомъ сосновомъ гробѣ, безъ церемоній, или послать его трупъ въ Харьковъ, въ анатомическій театръ. Онъ чувствовалъ, что каждая его строчка дышитъ злобой и комедіантствомъ, но остановиться уже не могъ и все писалъ, писалъ...

— Жаба! — вдругъ послышалось изъ сосѣдней комнаты; это былъ голосъ старшей дочери, негодующій, шипящій голосъ. — Жаба!

— Жаба! — повторила какъ эхо младшая. — Жаба.

Отецъ.

— Признаться, я выпивши... Извини, зашелъ дорогой въ портерную и по случаю жары выпилъ двѣ бутылочки. Жарко, братъ!

Старикъ Мусатовъ вытащилъ изъ кармана какую-то тряпочку и вытеръ ею свое бритое испитое лицо.

— Я къ тебѣ, Боренька, ангелъ мой, на минуточку, — продолжалъ онъ, не глядя на сына, — по весьма важному дѣлу. Извини, можетъ-быть, помѣшалъ. Нѣтъ ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денегъ, понимаешь ли... во! Хоть зарѣжь.

Молодой Мусатовъ молча вышелъ и сталъ за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и съ сослуживцами, которые вмѣстѣ съ нимъ сообща нанимали дачу. Черезъ три минуты онъ вернулся и молча подалъ отцу десятирублевку. Тотъ, не поглядѣвъ, небрежно сунулъ ее въ карманъ и сказалъ:

— Мерси. Ну, какъ живешь? Давно ужъ не видались.

— Да, давно. Съ самой Святой.

— Разъ пять собирался къ тебѣ, да все некогда,

То одно дѣло, то другое... просто смерть! Впрочемъ, вру... Все это я вру. Ты мнѣ не вѣрь, Боренька. Сказалъ—во вторникъ отдамъ десять рублей, тоже не вѣрь. Ни одному моему слову не вѣрь. Никакихъ у меня дѣловъ нѣтъ, а просто лѣнь, пьянство и совѣстно въ такомъ одѣяніи на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тутъ я раза три къ тебѣ дѣвчонку за деньгами присылалъ и жалостныя письма писалъ. За деньги спасибо, а письмамъ не вѣрь: вралъ. Совѣстно мнѣ обирать тебя, ангелъ мой; знаю, что самъ ты едва концы съ концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своимъ нахальствомъ не подѣлаю. Такой нахалъ, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебѣ всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельскаго лица видѣть...

Прошла минута въ молчаніи. Старикъ глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Угостилъ бы ты, батенька, меня пивкомъ...

Сынъ молча вышелъ, и за дверями опять послышался шопотъ. Когда, немного погодя, принесли пиво, старикъ при видѣ бутылокъ оживился и рѣзко измѣнилъ свой тонъ.

— Былъ, братецъ ты мой, намедни я на скачкахъ,—разсказывалъ онъ, дѣлая испуганные глаза.— Насъ было трое, и взяли мы въ тотализаторѣ одинъ трехрублевый билетъ на Шустраго. И спасибо этому Шустрому. На рубль намъ выдали по тридцать-два рубля. Не могу, братъ, безъ скачекъ. Удовольствіе благородное. Моя бабенція всегда задаетъ мнѣ трепку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борисъ, молодой человѣкъ, бѣлокурый, съ меланхолическимъ неподвижнымъ лицомъ, тихо ходилъ изъ угла въ уголъ и молча слушалъ. Когда старикъ прервалъ свой разсказъ, чтобы откашляться, онъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— На-дняхъ, папаша, я купилъ себѣ штиблеты, которыя оказались для меня слишкомъ узки. Не возьмешь ли ты ихъ у меня? Я уступлю тебѣ ихъ дешевле...

— Пожалуй, — согласился старикъ, дѣлая гримасу,—только за ту же цѣну, безъ уступокъ...

— Хорошо... Я тебѣ это взаймы даю.

Сынъ полѣзъ подъ кровать и досталъ оттуда новыя штиблеты. Отецъ снялъ свои неуклюжіе, бурые, очевидно, чужіе сапоги и сталъ примѣривать новую обувь.

— Какъ разъ! — сказалъ онъ. — Ладно, пускай у меня остаются. А во вторникъ, когда получу пенсію, пришлю тебѣ за нихъ. Впрочемъ, вру, — продолжалъ онъ, вдругъ опять впадая въ прежній слезливый тонъ. — И про тотализаторъ вру, и про пенсію вру. И ты меня обманываешь, Боренька... Я вѣдь чувствую твою великодушную политику. Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ахъ, Боря, Боря! Все я понимаю и все чувствую!

— Вы на новую квартиру перебрались? — прервалъ его сынъ, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Да, братъ, на новую... Каждый мѣсяцъ перебираюсь. Моя бабенція со своимъ характеромъ не можетъ долго на одномъ мѣстѣ ужиться.

— Я у васъ былъ на старой квартирѣ, хотѣлъ

васъ къ себѣ на дачу пригласить. Съ вашимъ здоровьемъ вамъ не мѣшало бы пожить на чистомъ воздухѣ.

— Нѣтъ!—махнулъ рукой старикъ.—Баба не пуститъ, да и самъ не хочу. Разъ сто вы пытались вытащить меня изъ ямы, и самъ я пытался, да ни черта не вышло... Бросьте! Въ ямѣ и околѣвать мнѣ. Сейчасъ вотъ сижу съ тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого такъ и тянетъ домой въ яму. Такая ужъ, знать, судьба. Навознаго жука не затащишь на розу. Нѣтъ. Однако, братецъ, мнѣ пора ужъ. Темно становится.

— Такъ постойте же, я васъ провожу. Мнѣ самому сегодня нужно въ городъ.

Старикъ и молодой надѣли свои пальто и вышли. Когда, немного погодя, они ѣхали на извозчикѣ, было уже темно, и въ окнахъ замелькали огни.

— Обобралъ я тебя, Боренька!—бормоталъ отецъ.—Бѣдныя, бѣдныя дѣти! Должно-быть, великое горе имѣть такого отца! Боренька, ангелъ мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини... До чего доходитъ мое нахальство, Боже мой! Сейчасъ вотъ я тебя обобралъ, конфужу тебя своимъ пьянымъ видомъ, братьевъ твоихъ тоже обираю и конфужу, а поглядѣлъ бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера къ моей бабенціи сосѣди и всякая шваль, напился и я съ ними и давай на чемъ свѣтъ стоитъ честить васъ, моимъ дѣточекъ. И ругалъ я васъ и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотѣлъ, видишь ли, пьяныхъ бабъ разжалобить и разыграть изъ себя несчастнаго отца. Такая ужъ у меня манера: когда хочу свои пороки

скрыть, то всю бѣду на невинныхъ дѣтей взваливаю. Не могу я врать тебѣ, Боренька, и скрывать. Шелъ къ тебѣ гоголемъ, а какъ увидѣлъ твою кротость и милосердіе твое, языкъ прилипъ къ гортани и всю мою совѣсть вверхъ торамашкой перевернуло.

— Полно, папаша, давайте говорить о чемъ-нибудь другомъ.

— Матерь Божія, какія у меня дѣти! — продолжалъ старикъ, не слушая сына. — Какую Господь мнѣ роскошь послалъ! Такихъ бы дѣтей не мнѣ, непутевому, а настоящему бы человѣку съ душой и чувствами! Не достоинъ я!

Старикъ снялъ свой маленькій картузикъ съ пуговкой и нѣсколько разъ перекрестился.

— Слава Тебѣ, Господи! — вздохнулъ онъ, оглядываясь по сторонамъ и какъ бы ища образа. — Замѣчательныя, рѣдкія дѣти! Три у меня сына, и всѣ какъ одинъ. Трезвые, степенные, дѣловые, а какіе умы! Извозчикъ, какіе умы! У одного Григорія ума столько, что на десять человѣкъ хватитъ. Онъ и по-французски, онъ и по-нѣмецки, а говоритъ, такъ куда тебѣ твои адвокаты — заслушаешься... Дѣти мои, дѣти, не вѣрю я, что вы мои! Не вѣрю! Ты у меня, Боренька, мученикъ. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мнѣ безъ конца, хоть и знаешь, что деньги твои идутъ не на дѣло. Намедни присылалъ я тебѣ жалостное письмо, болѣзнь описывалъ свою, а вѣдь вралъ: деньги я у тебя на ромъ просилъ. А даешь ты мнѣ потому, что боишься меня отказомъ оскорбить. Все это я знаю и чувствую... Гриша тоже мученикъ. Въ

четвергъ, братецъ ты мой, пошелъ я къ нему въ присутствіе пьяный, грязный, оборванный... водкой отъ меня какъ изъ погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лѣзу къ нему съ подлыми разговорами, а тутъ кругомъ его товарищи, начальство, просители. Осрамилъ на всю жизнь... А онъ хоть бы тебѣ капельку сконфузился, только чуточку поблѣднѣлъ, но улыбнулся и подошелъ ко мнѣ какъ ни въ чемъ не бывало, даже товарищамъ отрекомендовалъ. Потомъ проводилъ меня до самаго дома и хоть бы однимъ словомъ попрекнулъ! Обираю я его пуще, чѣмъ тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, вѣдь тоже мученикъ! Женился онъ, знаешь, на полковницкой дочкѣ изъ аристократическаго круга, приданое взялъ... Кажется, не до меня ему. Нѣтъ, братъ, какъ только женился, послѣ свадьбы со своею молодою супругой мнѣ первому визитъ сдѣлалъ... въ моей ямѣ... Ей Богу!

Старикъ всхлипнулъ и тотчасъ же засмѣялся.

— А въ ту пору, какъ нарочно, у насъ тертую рѣдьку съ квасомъ ѣли и рыбу жарили, и такая вонь была въ квартирѣ, что чорту тошно. Я лежалъ выпивши, бабенція моя выскочила къ молодымъ съ красною рожей... безобразіе, однимъ словомъ. А Саша все превозмогъ.

— Да, нашъ Саша хорошій человѣкъ, — сказалъ Борисъ.

— Великолѣпнѣйшій! Всѣ вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я васъ, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слыхалъ отъ васъ ни одного слова упрека, не видалъ ни одного косого взгляда. Добро бы, отецъ порядочный

былъ, а то — тьфу! Не видали вы отъ меня ничего, кромѣ зла. Я человѣкъ нехорошій, распутный... Теперь еще, слава Богу, присмирѣлъ и характера у меня нѣтъ, а вѣдь прежде, когда вы маленькими были, во мнѣ положительность сидѣла, характеръ. Что я ни дѣлалъ и ни говорилъ, все казалось мнѣ, какъ будто такъ и надо. Бывало, вернусь ночью домой изъ клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Цѣлую ночь ѣмъ ее поѣдомъ и думаю, что это такъ и надо; бывало, утромъ вы встанете и въ гимназію уйдете, а я все еще надъ ней свой характеръ показываю. Царство небесное, замучилъ я ее, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы изъ гимназіи, а я сплю, вы не смѣете обѣдать, пока я не встану. За обѣдомъ опять музыка. Небось помнишь. Не дай Богъ никому такого отца. Вамъ меня Богъ на подвигъ послалъ. Именно, на подвигъ! Тяните ужъ, дѣтки, до конца. Чти отца твоего и долголѣтенъ будеши. За вашъ подвигъ, можетъ, Господь пошлетъ вамъ жизнь долгую. Извозчикъ, стой!

Старикъ спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Черезъ полчаса онъ вернулся, пьяно крякнулъ и сѣлъ рядомъ съ сыномъ.

— А гдѣ теперь Соня? — спросилъ онъ. — Все еще въ пансіонѣ?

— Нѣтъ, въ маѣ, она кончила и теперь у Сашиной тещи живетъ.

— Во! — удивился старикъ. — Молодецъ-дѣвка, стало-быть, въ братьевъ пошла. Эхъ, нѣту, Боренька, матери, некому утѣшаться. Послушай, Боренька, она... она знаетъ, какъ я живу? А?

Борисъ ничего не отвѣтилъ. Прошло минутъ пять въ глубокомъ молчаніи. Старикъ всхлипнулъ, утерся своею тряпочкой и сказалъ:

— Люблю я ее, Боренька! Вѣдь единственная дочь, а въ старости лучшаго утѣшенія нѣтъ, какъ дочка. Повидаться бы мнѣ съ ней. Можно, Боренька?

— Конечно, когда хотите.

— Ей Богу? А она ничего?

— Полноте, она сама искала васъ, чтобъ повидаться.

— Ей Богу? Вотъ дѣти! Извозчикъ, а? Устрой, Боренька, голубчикъ! Она теперь барышня, деликатесъ, консуме и все такое на благородный манеръ, и я не желаю показываться ей въ такомъ подлѣйшемъ видѣ. Мы, Боренька, всю эту механику такъ устроимъ. Денька три я воздержусь отъ спиртуозовъ, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло въ порядокъ, потомъ приду къ тебѣ, и ты дашь мнѣ на время какой-нибудь свой костюмчикъ, побреюсь я, подстригусь, потомъ ты съѣздишь и привезешь ее къ себѣ. Ладно?

— Хорошо.

— Извозчикъ, стой!

Старикъ опять спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Пока Борисъ доѣхалъ съ нимъ до его квартиры, онъ еще раза два прыгалъ, и сынъ всякій разъ молча и терпѣливо ожидалъ его. Когда они, отпустивъ извозчика, пробирались длиннымъ грязнымъ дворомъ къ квартирѣ „бабенціи“, старикъ принялъ въ высшей степени сконфуженный и виноватый видъ, сталъ робко крякать и причмокивать губами.

— Боренька, — сказалъ онъ заискивающимъ тономъ, — если моя бабенція начнетъ говорить тебѣ что-нибудь такое, то ты не обращай вниманія и... и обойдись съ ней, знаешь, этакъ, попривѣтливѣй. Она у меня невѣжественна и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нея въ груди бьется доброе, горячее сердце!

Длинный дворъ кончился, и Борисъ вошелъ въ темныя сѣни. Заскрипѣла дверь на блокѣ, пахнуло кухней и самоварнымъ дымомъ, послышались рѣзкіе голоса. Проходя изъ сѣней черезъ кухню, Борисъ видѣлъ только темный дымъ, веревку съ развѣшеннымъ бѣльемъ и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотыя искры.

— А вотъ и моя келья, — сказалъ старикъ, нагибаясь и входя въ маленькую комнату съ низкимъ потолкомъ и съ атмосферой, невыносимо душной отъ сосѣдства съ кухней.

Здѣсь за столомъ сидѣли какія-то три бабы и угощались. Увидѣвъ гостя, онѣ переглянулись и перестали ѣсть.

— Что жъ, досталъ? — спросила сурово одна изъ нихъ, повидимому, сама „бабенція“.

— Досталъ, досталъ, — забормоталъ старикъ. — Ну, Борисъ, милости просимъ, садись! У насъ, братъ, молодой человѣкъ, просто... Мы въ простотѣ живемъ.

Онъ какъ-то безъ-толку засуетился. Ему было совѣстно сына и въ то же время, повидимому, ему хотѣлось держать себя около бабъ, какъ всегда, „гоголемъ“ и несчастнымъ, брошеннымъ отцомъ.

— Да, братецъ ты мой, молодой человѣкъ, мы

живемъ просто, безъ затѣй,—бормоталъ онъ.—Мы люди простые, молодой человѣкъ... Мы не то, что вы, не любимъ пыль въ глаза пускать. Да-съ... Развѣ водки выпить?

Одна изъ бабъ (ей было совѣстно пить при чужомъ человѣкѣ) вздохнула и сказала:

— А я черезъ грибы еще выпью... Такіе грибы, что не захочешь, такъ выпьешь... Иванъ Герасимычъ, пригласите ихъ, можетъ, и они выпьютъ!

Послѣднее слово она произнесла такъ: випьютъ.

— Выпей, молодой человѣкъ!—сказалъ старикъ, не глядя на сына.—У насъ, братъ, винъ и ликеровъ нѣтъ, мы попросту.

— Имъ у насъ не нравится! — вздохнула „бабенція“.

— Ничего, ничего, онъ выпьетъ!

Чтобы не обидѣть отца отказомъ, Борисъ взялъ рюмку и молча выпилъ. Когда принесли самоваръ, онъ молча, съ меланхолическимъ лицомъ, въ угоду старику, выпилъ двѣ чашки противнаго чаю. Молча онъ слушалъ, какъ „бабенція“ намеками говорила о томъ, что на этомъ свѣтѣ есть жестокія и безбожныя дѣти, которыя бросаютъ своихъ родителей.

— Я знаю, что ты теперь думаешь!—говорилъ подвыпившій старикъ, входя въ свое обычное пьяное, возбужденное состояніе.—Ты думаешь, я опустился, погрязъ, я жалокъ, а по-моему эта простая жизнь гораздо нормальнѣе твоей жизни, молодой человѣкъ. Ни въ комъ я не нуждаюсь и... и не намѣренъ унижаться... Терпѣть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядитъ на меня съ сожалѣніемъ.

Послѣ чаю онъ чистилъ селедку и посыпалъ ее лукомъ съ такимъ чувствомъ, что даже въ глазахъ его выступили слезы умиленія. Онъ опять заговорилъ о тотализаторѣ, о выигрышахъ, о какой-то шляпѣ изъ панамской соломы, за которую онъ вчера заплатилъ 16 рублей. Лгалъ онъ съ такимъ же аппетитомъ, съ какимъ пилъ и ѣлъ селедку. Сынъ молча высидѣлъ часъ и сталъ прощаться.

— Не смѣю удерживать! — сказалъ надменно старикъ. — Извините, молодой человѣкъ, что я живу не такъ, какъ вамъ хочется!

Онъ хорохорился, съ достоинствомъ фыркалъ и подмигивалъ бабамъ.

— Прощайте-съ, молодой человѣкъ! — говорилъ онъ, провожая сына до сѣней. — Атанде.

Въ сѣняхъ же, гдѣ было темно, онъ вдругъ прижался лицомъ къ рукаву сына и всхлипнулъ.

— Поглядѣть бы мнѣ Сонюшку! — зашепталъ онъ. — Устрой, Боренька, ангелъ мой! Я побреюсь, надѣну твой костюмчикъ... строгое лицо сдѣлаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать!

Онъ робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса бабъ, задержалъ рыданіе и сказалъ громко:

— Прощайте, молодой человѣкъ! Атанде!

Студентъ.

Погода вначалѣ была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по сосѣдству въ болотахъ что-то живое жалобно гудѣло, точно дуло въ пустую бутылку. Протянулъ одинъ вальдшнепъ, и выстрѣлъ по немъ прозвучалъ въ весеннемъ воздухѣ раскатисто и весело. Но когда стемнѣло въ лѣсу, некстати подулъ съ востока холодный пронизывающій вѣтеръ, все смолкло. По лужамъ протянулись ледяныя иглы, и стало въ лѣсу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иванъ Великопольскій, студентъ духовной академіи, сынъ дьячка, возвращаясь съ тяги домой, шелъ все время заливнымъ лугомъ по тропинкѣ. У него закоченѣли пальцы, и разгорѣлось отъ вѣтра лицо. Ему казалось, что этотъ внезапно наступившій холодъ нарушилъ во всемъ порядокъ и согласіе, что самой природѣ жутко, и оттого вечернія потемки сгустились быстрѣй, чѣмъ надо. Кругомъ было пустынно и какъ-то особенно мрачно. Только на вдовьихъ огородахъ около рѣки свѣтился огонь; далеко же кругомъ и тамъ, гдѣ была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало въ холодной вечерней мглѣ. Студентъ вспомнилъ, что, когда онъ уходилъ изъ дому, его мать, сидя въ

сѣняхъ на полу, босая, чистила самоваръ, а отецъ лежалъ на печи и кашлялъ; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотѣлось ѣсть. И теперь, пожимаясь отъ холода, студентъ думалъ о томъ, что точно такой же вѣтеръ дулъ и при Рюрикѣ, и при Іоаннѣ Грозномъ, и при Петрѣ, и что при нихъ была точно такая же лютая бѣдность, голодъ, такія же дырявыя соломенныя крыши, невѣжество, тоска, такая же пустыня кругомъ, мракъ, чувство гнета, — всѣ эти ужасы были, есть и будутъ, и оттого, что пройдетъ еще тысяча лѣтъ, жизнь не станетъ лучше. И ему не хотѣлось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что ихъ содержали двѣ вдовы, мать и дочь. Костеръ горѣлъ жарко, съ трескомъ, освѣщая далеко кругомъ вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха въ мужскомъ полушубкѣ, стояла возлѣ и въ раздумьѣ глядѣла на огонь; ея дочь, Лукерья, маленькая, рябая, съ глуповатымъ лицомъ, сидѣла на землѣ и мыла котелъ и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужскіе голоса; это здѣшніе работники на рѣкѣ поили лошадей.

— Вотъ вамъ и зима пришла назадъ, — сказалъ студентъ, подходя къ костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчасъ же узнала его и улыбнулась привѣтливо.

— Не узнала, Богъ съ тобой, — сказала она. — Богатымъ быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господъ въ мамкахъ, а потомъ

въ нянькахъ, выражалась деликатно, и съ лица ея все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ея Лукерья, деревенская баба, забитая мужемъ, только щурилась на студента и молчала, и выраженіе у нея было странное, какъ у глухонѣмой.

— Точно такъ же въ холодную ночь грѣлся у костра апостолъ Петръ, — сказалъ студентъ, протягивая къ огню руки. — Значитъ, и тогда было холодно. Ахъ, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Онъ посмотрѣлъ кругомъ на потемки, судорожно встряхнулъ головой и спросилъ:

— Небось, была на двѣнадцати евангеліяхъ?

— Была, — отвѣтила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петръ сказалъ Іисусу: „Съ Тобою я готовъ и въ темницу и на смерть". А Господь ему на это: „Говорю тебѣ, Петръ, не пропоетъ сегодня пѣтелъ, то-есть пѣтухъ, какъ ты трижды отречешься, что не знаешь меня". Послѣ вечери Іисусъ смертельно тосковалъ въ саду и молился, а бѣдный Петръ истомился душой, ослабѣлъ, вѣки у него отяжелѣли, и онъ никакъ не могъ побороть сна. Спалъ. Потомъ, ты слышала, Іуда въ ту же ночь поцѣловалъ Іисуса и предалъ Его мучителямъ. Его связаннаго вели къ первосвященнику и били, а Петръ, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшійся, предчувствуя, что вотъ-вотъ на землѣ произойдетъ что-то ужасное, шелъ вслѣдъ... Онъ страстно, безъ памяти любилъ Іисуса, и теперь видѣлъ издали, какъ Его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взглядъ на студента.

— Пришли къ первосвященнику, — продолжалъ онъ: — Іисуса стали допрашивать, а работники тѣмъ временемъ развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грѣлись. Съ ними около костра стоялъ Петръ и тоже грѣлся, какъ вотъ я теперь. Одна женщина, увидѣвъ его, сказала: „И этотъ былъ съ Іисусомъ", то-есть, что и его, молъ, нужно вести къ допросу. И всѣ работники, что находились около огня, должно-быть, подозрительно и сурово поглядѣли на него, потому что онъ смутился и сказалъ: „Я не знаю Его". Немного погодя опять кто-то узналъ въ немъ одного изъ учениковъ Іисуса и сказалъ: „И ты изъ нихъ". Но онъ опять отрекся. И въ третій разъ кто-то обратился къ нему: „Да не тебя ли сегодня я видѣлъ съ Нимъ въ саду?" Онъ третій разъ отрекся. И послѣ этого раза тотчасъ же запѣлъ пѣтухъ, и Петръ, взглянувъ издали на Іисуса, вспомнилъ слова, которыя Онъ сказалъ ему на вечери... Вспомнилъ, очнулся, пошелъ со двора и горько-горько заплакалъ. Въ евангеліи сказано: „И исшедъ вонъ, плакася горько". Воображаю: тихій-тихій, темный-темный садъ, и въ тишинѣ едва слышатся глухія рыданія...

Студентъ вздохнулъ и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдругъ всхлипнула, слезы, крупныя, изобильныя, потекли у нея по щекамъ, и она заслонила рукавомъ лицо отъ огня, какъ бы стыдясь своихъ слезъ, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснѣла, и выраженіе у нея стало

тяжелымъ, напряженнымъ, какъ у человѣка, который сдерживаетъ сильную боль.

Работники возвращались съ рѣки, и одинъ изъ нихъ верхомъ на лошади былъ уже близко, и свѣтъ отъ костра дрожалъ на немъ. Студентъ пожелалъ вдовамъ спокойной ночи и пошелъ дальше. И опять наступили потёмки, и стали зябнуть руки. Дулъ жестокій вѣтеръ, въ самомъ дѣлѣ возвращалась зима, и не было похоже, что послѣзавтра Пасха.

Теперь студентъ думалъ о Василисѣ: если она заплакала, то, значитъ, все, происходившее въ ту страшную ночь съ Петромъ, имѣетъ къ ней какое-то отношеніе...

Онъ оглянулся. Одинокій огонь спокойно мигалъ въ темнотѣ, и возлѣ него уже не было видно людей. Студентъ опять подумалъ, что если Василиса заплакала, а ея дочь смутилась, то, очевидно, то, о чемъ онъ только что разсказывалъ, что происходило девятнадцать вѣковъ назадъ, имѣетъ отношеніе къ настоящему — къ обѣимъ женщинамъ и, вѣроятно, къ этой пустынной деревнѣ, къ нему самому, ко всѣмъ людямъ. Если старуха заплакала, то не потому, что онъ умѣетъ трогательно разсказывать, а потому, что Петръ ей близокъ, и потому, что она всѣмъ своимъ существомъ заинтересована въ томъ, что происходило въ душѣ Петра.

И радость вдругъ заволновалась въ его душѣ, и онъ даже остановился на минуту, чтобы перевести духъ. Прошлое, — думалъ онъ, — связано съ настоящимъ непрерывною цѣпью событій, вытекавшихъ одно изъ другого. И ему казалось, что онъ только что видѣлъ оба конца этой цѣпи:

дотронулся до одного конца, какъ дрогнулъ другой.

А когда онъ переправлялся на поромѣ черезъ рѣку и потомъ, поднимаясь на гору, глядѣлъ на свою родную деревню и на западъ, гдѣ узкою полосой свѣтилась холодная багровая заря, то думалъ о томъ, что правда и красота, направлявшія человѣческую жизнь тамъ, въ саду и во дворѣ первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное въ человѣческой жизни и вообще на землѣ; и чувство молодости, здоровья, силы,—ему было только 22 года,—и невыразимо сладкое ожиданіе счастья, невѣдомаго, таинственнаго счастья овладѣвали имъ мало-по-малу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокаго смысла.

Сосѣди.

Петръ Михайловичъ Ивашинъ былъ сильно не въ духѣ: его сестра, дѣвушка, ушла къ Власичу, женатому человѣку. Чтобы какъ-нибудь отдѣлаться отъ тяжелаго, унылаго настроенія, какое не оставляло его ни дома ни въ полѣ, онъ призывалъ къ себѣ на помощь чувство справедливости, свои честныя, хорошія убѣжденія — вѣдь онъ всегда стоялъ за свободную любовь!—но это не помогало, и онъ всякій разъ помимо воли приходилъ къ такому же заключенію, какъ глупая няня, то-есть, что сестра поступила дурно, а Власичъ укралъ сестру. И это было мучительно.

Мать цѣлый день не выходила изъ своей комнаты, няня говорила шопотомъ и все вздыхала, тетка каждый день собиралась уѣхать, и чемоданы ея то вносили въ переднюю, то уносили назадъ въ комнату. Въ домѣ, во дворѣ и въ саду была тишина, похожая на то, какъ будто въ домѣ былъ покойникъ. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайловичу, загадочно и съ недоумѣніемъ смотрѣли на него, какъ будто хотѣли сказать: „Твою сестру обольстили, что же ты бездѣйствуешь?“ И онъ упрекалъ себя въ бездѣйствіи, хотя и не зналъ, въ чемъ собственно должно было заключаться дѣйствіе.

Такъ прошло дней шесть. Въ седьмой—это было въ воскресенье послѣ обѣда — верховой привезъ письмо. Адресъ былъ написанъ знакомымъ женскимъ почеркомъ: „Ея Превосх. Аннѣ Николаевнѣ Ивашиной“. Петру Михайловичу почему-то показалось, что въ оболочкѣ письма и въ почеркѣ и въ недописанномъ словѣ „Превосх.“ было что-то вызывающее, задорное, либеральное. А женскій либерализмъ упрямъ, неумолимъ, жестокъ...

„Она скорѣе согласится умереть, чѣмъ сдѣлать несчастной матери уступку, попросить у нея прощенія“, подумалъ Петръ Михайловичъ, идя къ матери съ письмомъ.

Мать лежала въ постели, одѣтая. Увидѣвъ сына, она порывисто поднялась и, поправляя сѣдые волосы, выбившіеся изъ-подъ чепца, быстро спросила:

— Что? Что?

— Прислала...—сказалъ сынъ, подавая ей письмо.

Имя Зины и даже слово „она“ не произносилось въ домѣ; о Зинѣ говорили безлично: „прислала“, „ушла“... Мать узнала почеркъ дочери, и лицо ея стало некрасивымъ, непріятнымъ, и сѣдые волосы опять выбились изъ-подъ чепца.

— Нѣтъ!—сказала она, дѣлая руками такъ, какъ будто письмо обожгло ей пальцы.—Нѣтъ, нѣтъ, никогда! Ни за что!

Мать истерически зарыдала отъ горя и стыда; ей, очевидно, хотѣлось прочесть письмо, но мѣшала гордость. Петръ Михайловичъ понималъ, что ему самому слѣдовало бы распечатать письмо и прочесть его вслухъ, но имъ вдругъ овладѣла злоба,

какой онъ раньше никогда не испытывалъ; онъ выбѣжалъ на дворъ и крикнулъ верховому:

— Скажи, что отвѣта не будетъ! Не будетъ отвѣта! Такъ и скажи, скотина!

И разорвалъ письмо; потомъ слезы выступили у него на глазахъ, и, чувствуя себя жестокимъ, виноватымъ и несчастнымъ, онъ ушелъ въ поле.

Ему шелъ только двадцать-восьмой годъ, но ужъ онъ былъ толстъ, одѣвался по-стариковски во все широкое и просторное и страдалъ одышкой. Въ немъ были уже всѣ задатки помѣщика стараго холостяка. Онъ не влюблялся, о женитьбѣ не думалъ и любилъ только мать, сестру, няню, садовника Васильича; любилъ хорошо поѣсть, поспать послѣ обѣда, поговорить о политикѣ и о возвышенныхъ матеріяхъ... Въ свое время онъ кончилъ курсъ въ университетѣ, но теперь смотрѣлъ на это такъ, какъ будто отбылъ повинность, неизбѣжную для юношей въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ; по крайней мѣрѣ, мысли, которыя теперь каждый день бродили въ его головѣ, не имѣли ничего общаго съ университетомъ и съ тѣми науками, которыя онъ проходилъ.

Въ полѣ было жарко и тихо, какъ передъ дождемъ. Въ лѣсу парило, и шелъ душистый тяжелый запахъ отъ сосенъ и лиственнаго перегноя. Петръ Михайловичъ часто останавливался и вытиралъ мокрый лобъ. Онъ осмотрѣлъ свои озимыя и яровыя, обошелъ клеверное поле и раза два согналъ на опушкѣ куропатку съ цыплятами; и все время онъ думалъ о томъ, что это невыносимое состояніе не можетъ продолжаться вѣчно и что

надо его такъ или иначе кончить. Кончить какъ-нибудь глупо, дико, но непремѣнно кончить.

„Но какъ же? Что же дѣлать?“ спрашивалъ онъ себя и умоляюще поглядывалъ на небо и на деревья, какъ бы прося у нихъ помощи.

Но небо и деревья молчали. Честныя убѣжденія не помогали, а здравый смыслъ подсказывалъ, что мучительный вопросъ можно рѣшить не иначе, какъ глупо, и что сегодняшняя сцена съ верховымъ не послѣдняя въ этомъ родѣ. Что еще будетъ—страшно подумать!

Когда онъ возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь ужъ ему казалось, что вопроса никакъ нельзя рѣшить. Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а средины нѣтъ. Когда онъ, снявши шляпу и обмахиваясь платкомъ, шелъ по дорогѣ и до дома оставалось версты двѣ, сзади послышались звонки. Это былъ затѣйливый и очень удачный подборъ колокольчиковъ и бубенчиковъ, издававшихъ стеклянные звуки. Съ такимъ звономъ ѣздилъ одинъ только исправникъ Медовскій, бывшій гусарскій офицеръ, промотавшійся и истасканный, больной человѣкъ, дальній родственникъ Петра Михайловича. У Ивашиныхъ онъ былъ своимъ человѣкомъ и къ Зинѣ питалъ нѣжное отеческое чувство и восхищался ею.

— А я къ вамъ, — сказалъ онъ, обогнавъ Петра Михайловича. — Садитесь, подвезу.

Онъ улыбался и глядѣлъ весело; очевидно, не зналъ еще, что Зина ушла къ Власичу; быть-можетъ, ему уже сообщали объ этомъ, но онъ не вѣ-

рилъ. Петръ Михайловичъ почувствовалъ себя въ затруднительномъ положеніи.

— Милости просимъ,—пробормоталъ онъ, краснѣя до слезъ и не зная, какъ и что солгать.—Я очень радъ, — продолжалъ онъ, стараясь улыбнуться, — но... Зина уѣхала, а мама больна.

— Какая досада! — сказалъ исправникъ, задумчиво глядя на Петра Михайловича.—А я собирался провести у васъ вечеръ. Куда уѣхала Зинаида Михайловна?

— Къ Синицкимъ, а оттуда, кажется, хотѣла въ монастырь. Не знаю навѣрное...

Исправникъ поговорилъ еще немного и повернулъ назадъ. Петръ Михайловичъ шелъ домой и съ ужасомъ думалъ о томъ, какое чувство будетъ у исправника, когда онъ узнаетъ правду. И Петръ Михайловичъ вообразилъ себѣ это чувство и, испытывая его, вошелъ въ домъ.

„Помоги, Господи, помоги...“ — думалъ онъ.

Въ столовой за вечернимъ чаемъ сидѣла одна только тетка. По обыкновенію, на лицѣ у нея было такое выраженіе, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидѣть себя никому не позволитъ. Петръ Михайловичъ сѣлъ на другой конецъ стола (онъ не любилъ тетки) и сталъ молча пить чай.

— Твоя мать сегодня опять не обѣдала,—сказала тетка.—Ты бы, Петруша, обратилъ вниманіе. Морить себя будешь голодомъ, — этимъ горю не пособишь.

Петру Михайловичу показалось нелѣпымъ, что тетка вмѣшивается въ чужія дѣла и свой отъѣздъ ставитъ въ зависимость отъ того, что ушла Зина. Онъ хотѣлъ сказать ей дерзость, но сдержалъ себя.

И, сдерживая себя, онъ почувствовалъ, что настала подходящая пора, чтобы дѣйствовать, и что терпѣть долѣе нѣтъ силъ. Или дѣйствовать сейчасъ же или же упасть на полъ, кричать и биться головой о полъ. Онъ вообразилъ Власича и Зину, какъ они оба, либеральные и довольные собой, цѣлуются теперь гдѣ-нибудь подъ кленомъ, и все тяжелое и злобное, что скоплялось въ немъ въ теченіе семи дней, навалилось на Власича.

„Одинъ обольстилъ и укралъ сестру,—подумалъ онъ,—другой придетъ и зарѣжетъ мать, третій подожжетъ домъ или ограбитъ... И все это подъ личиной дружбы, высокихъ идей, страданій“...

— Нѣтъ, этого не будетъ! — вдругъ крикнулъ Петръ Михайловичъ и ударилъ кулакомъ по столу.

Онъ вскочилъ и выбѣжалъ изъ столовой. Въ конюшнѣ стояла осѣдланная лошадь управляющаго. Онъ сѣлъ на нее и поскакалъ къ Власичу.

Въ душѣ у него происходила цѣлая буря. Онъ чувствовалъ потребность сдѣлать что-нибудь изъ ряда вонъ выходящее, рѣзкое, хотя бы потомъ пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецомъ, дать ему пощечину и потомъ вызвать на дуэль? Но Власичъ не изъ тѣхъ, которые дерутся на дуэли; отъ подлеца же и пощечины онъ станетъ только несчастнѣе и глубже уйдетъ въ самого себя. Эти несчастные, безотвѣтные люди — самые несносные, самые тяжелые люди. Имъ все проходитъ безнаказанно. Когда несчастный человѣкъ, въ отвѣтъ на заслуженный упрекъ, взглянетъ своими глубокими виноватыми глазами, болѣзненно улыбнется и покорно подставитъ голову,

то, кажется, у самой справедливости не хватитъ духа поднять на него руку.

„Все равно. Я при ней ударю его хлыстомъ и наговорю ему дерзостей“, рѣшилъ Петръ Михайловичъ.

Онъ ѣхалъ своимъ лѣсомъ и пустырями и воображалъ, какъ Зина, чтобы оправдать свой поступокъ, будетъ говорить о правахъ женщины, о свободѣ личности и о томъ, что между церковнымъ и гражданскимъ бракомъ нѣтъ никакой разницы. Она по-женски будетъ спорить о томъ, чего не понимаетъ. И, вѣроятно, въ концѣ концовъ она спроситъ: „При чемъ ты тутъ? Какое ты имѣешь право вмѣшиваться?“

— Да, я не имѣю права, — пробормоталъ Петръ Михайловичъ. — Но тѣмъ лучше... Чѣмъ грубѣе, чѣмъ меньше права, тѣмъ лучше.

Было душно. Низко надъ землей стояли тучи комаровъ, и въ пустыряхъ жалобно плакали чибисы. Все предвѣщало дождь, но не было ни одного облачка. Петръ Михайловичъ переѣхалъ свою межу и поскакалъ по ровному, гладкому полю. Онъ часто ѣздилъ по этой дорогѣ и зналъ на ней каждый кустикъ, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, въ сумеркахъ, представлялось темнымъ утесомъ, была красная церковь; онъ могъ вообразить ее себѣ всю до мелочей, даже штукатурку на воротахъ и телятъ, которые всегда паслись въ оградѣ. Въ верстѣ отъ церкви направо темнѣетъ роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.

Изъ-за церкви и графской рощи надвигалась

громадная черная туча, и на ней вспыхивали блѣдныя молніи.

„Вотъ оно что!—подумалъ Петръ Михайловичъ.—Помоги, Господи, помоги“.

Лошадь отъ быстрой ѣзды скоро устала, и самъ Петръ Михайловичъ усталъ. Грозовая туча сердито смотрѣла на него и какъ будто совѣтовала вернуться домой. Стало немножко жутко.

„Я имъ докажу, что они не правы!—подбодрялъ онъ себя.—Они будутъ говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но вѣдь свобода — въ воздержаніи, а не въ подчиненіи страстямъ. У нихъ развратъ, а не свобода!“

Вотъ большой графскій прудъ; отъ тучи онъ посинѣлъ и нахмурился; повѣяло отъ него сыростью и тиной. Около гати двѣ ивы, старая и молодая, нѣжно прислонились другъ къ другу. На этомъ самомъ мѣстѣ недѣли двѣ назадъ Петръ Михайловичъ и Власичъ шли пѣшкомъ и пѣли вполголоса студенческую пѣсню: „Не любить — погубить, значитъ, жизнь молодую...“ Жалкая пѣсня!

Когда Петръ Михайловичъ ѣхалъ черезъ рощу, гремѣлъ громъ, и деревья шумѣли и гнулись отъ вѣтра. Надо было торопиться. Отъ рощи до усадьбы Власича оставалось еще проѣхать лугомъ не болѣе версты. Тутъ по обѣ стороны дороги стояли старыя березы. Онѣ были такъ же печальны и несчастны на видъ, какъ ихъ хозяинъ Власичъ, такъ же были тощи и высоко вытянулись, какъ онъ. Въ березахъ и въ травѣ зашуршалъ крупный дождь; вѣтеръ тотчасъ же стихъ и запахло мокрою землей и тополемъ. Вонъ показалась изгородь Власича съ

желтою акаціей, которая тоже тоща и вытянулась; тамъ, гдѣ рѣшетка обвалилась, виденъ запущенный фруктовый садъ.

Петръ Михайловичъ не думалъ уже ни о пощечинѣ ни о хлыстѣ, и не зналъ, что будетъ онъ дѣлать у Власича. Онъ струсилъ. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что онъ ее сейчасъ увидитъ. Какъ она будетъ держать себя съ братомъ? О чемъ они оба будутъ говорить? И не вернуться ли назадъ, пока не поздно? Думая такъ, онъ по липовой аллеѣ поскакалъ къ дому, обогнулъ широкіе кусты сирени и вдругъ увидѣлъ Власича.

Власичъ безъ шляпы, въ ситцевой рубахѣ и высокихъ сапогахъ, согнувшись подъ дождемъ, шелъ отъ угла дома къ крыльцу; за нимъ работникъ несъ молотокъ и ящикъ съ гвоздями. Должно-быть, починяли ставню, которая хлопала отъ вѣтра. Увидѣвъ Петра Михайловича, Власичъ остановился.

— Это ты? — сказалъ онъ и улыбнулся. — Ну, вотъ и хорошо.

— Да, пріѣхалъ, какъ видишь... — тихо проговорилъ Петръ Михайловичъ, стряхивая съ себя дождь обѣими руками.

— Ну, вотъ и ладно. Очень радъ, — сказалъ Власичъ, но руки не подалъ: очевидно, не рѣшался и ждалъ, когда ему подадутъ. — Для овсовъ хорошо! — сказалъ онъ и поглядѣлъ на небо.

— Да.

Молча вошли въ домъ. Направо изъ передней вела дверь въ другую переднюю и потомъ въ залу, а налѣво — въ маленькую комнату, гдѣ зимою

жилъ приказчикъ. Петръ Михайловичъ и Власичъ вошли въ эту комнату.

— Тебя гдѣ дождь захватилъ? — спросилъ Власичъ.

— Недалеко. Почти около дома.

Петръ Михайловичъ сѣлъ на кровать. Онъ былъ радъ, что шумѣлъ дождь и что въ комнатѣ было темно. Этакъ лучше: не такъ жутко и не нужно собесѣднику въ лицо смотрѣть. Злобы у него уже не было, а были страхъ и досада на себя. Онъ чувствовалъ, что дурно началъ и что изъ этой его поѣздки не выйдетъ никакого толку.

Оба нѣкоторое время молчали и дѣлали видъ, что прислушиваются къ дождю.

— Спасибо, Петруша, — началъ Власичъ, кашлянувъ. — Я очень благодаренъ тебѣ, что ты пріѣхалъ. Это великодушно и благородно съ твоей стороны. Я это понимаю и, вѣрь мнѣ, цѣню высоко. Вѣрь мнѣ.

Онъ поглядѣлъ въ окно и продолжалъ, стоя среди комнатки:

— Все произошло какъ-то тайно, точно мы скрывались отъ тебя. Сознаніе, что ты, быть-можетъ, оскорбленъ нами и сердишься, всѣ эти дни лежало пятномъ на нашемъ счастьѣ. Но позволь оправдаться. Дѣйствовали мы тайно не потому, что тебѣ мало довѣряли. Во-первыхъ, все произошло внезапно, по какому-то вдохновенію, и разсуждать было некогда. Во-вторыхъ, это дѣло интимное, щекотливое... было неловко вмѣшивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, какъ ты. Главное же, во всемъ этомъ мы сильно разсчитывали на твое великодушіе. Ты великодушнѣйшій, благороднѣй-

шій человѣкъ. Я тебѣ безконечно благодаренъ. Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Власичъ говорилъ тихимъ глухимъ басомъ, все въ одну ноту, будто гудѣлъ; онъ, видимо, волновался. Петръ Михайловичъ почувствовалъ, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него въ самомъ дѣлѣ разыгрывать изъ себя великодушнѣйшаго и благороднѣйшаго простака, а онъ не за этимъ сюда пріѣхалъ. Онъ быстро поднялся и сказалъ вполголоса, задыхаясь:

— Послушай, Григорій, ты знаешь, я любилъ тебя и лучшаго мужа для своей сестры не желалъ; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!

— Почему же страшно? — спросилъ Власичъ дрогнувшимъ голосомъ. — Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но вѣдь этого нѣтъ!

— Послушай, Григорій, ты знаешь, я безъ предразсудковъ; но, извини за откровенность, по моему мнѣнію, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу Зинѣ, это ее огорчитъ, но ты долженъ знать: мать страдаетъ до такой степени, что описать трудно.

— Да, это грустно, — вздохнулъ Власичъ. — Мы это предвидѣли, Петруша, но что же мы должны были дѣлать? Если твой поступокъ огорчаетъ кого-нибудь, то это еще не значитъ, что онъ дуренъ. Что дѣлать! Всякій твой серьезный шагъ неминуемо долженъ огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошелъ сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что дѣлать! Кто выше всего

ставитъ покой своихъ близкихъ, тотъ долженъ совершенно отказаться отъ идейной жизни.

За окномъ ярко сверкнула молнія, и этотъ блескъ какъ будто измѣнилъ теченіе мыслей у Власича. Онъ сѣлъ рядомъ съ Петромъ Михайловичемъ и заговорилъ совсѣмъ не то, что нужно.

— Я, Петруша, благоговѣю передъ твоею сестрой, — сказалъ онъ. — Когда я ѣздилъ къ тебѣ, то всякій разъ у меня бывало такое чувство, какъ будто я шелъ на богомолье, и я въ самомъ дѣлѣ молился на Зину. Теперь мое благоговѣніе растетъ съ каждымъ днемъ. Она для меня выше, чѣмъ жена! Выше! (Власичъ взмахнулъ руками.) Она моя святыня. Съ тѣхъ поръ какъ она живетъ у меня, я вхожу въ свой домъ какъ въ храмъ. Это рѣдкая, необыкновенная, благороднѣйшая женщина!

„Ну, завелъ свою шарманку!“ подумалъ Петръ Михайловичъ; слово „женщина“ ему не понравилось.

— Отчего бы вамъ не жениться по-настоящему?— спросилъ онъ. — Сколько твоя жена хочетъ за разводъ?

— Семьдесятъ-пять тысячъ.

— Многовато. А если поторговаться?

— Не уступитъ ни копейки. Это, братъ, ужасная женщина! — вздохнулъ Власичъ. — Я тебѣ раньше о ней никогда не говорилъ, было противно вспоминать, но вотъ пришлось къ случаю, упоминаю. Женился я на ней подъ вліяніемъ хорошей, честной минуты. Въ нашемъ полку, если хочешь подробностей, одинъ батальонный командиръ сошелся съ восемнадцатилѣтнею дѣвицей, то-есть, попросту, обольстилъ ее, пожилъ съ ней мѣсяца два и бро-

силъ. Очутилась она, братъ, въ ужаснѣйшемъ положеніи. Къ родителямъ возвращаться совѣстно, да и не примутъ, любовникъ бросилъ, — хоть иди въ казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость ужъ очень глаза рѣзала. Батальоннаго, къ тому же, въ полку всѣ терпѣть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали всѣ негодующіе прапорщики и подпоручики собирать деньги по подпискѣ въ пользу несчастной дѣвицы. Ну, вотъ, когда мы, младшіе оберъ-офицеры, собрались на совѣщаніе и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдругъ загорѣлась голова. Обстановка показалась мнѣ слишкомъ подходящею для подвига. Я поспѣшилъ къ дѣвицѣ и въ горячихъ выраженіяхъ высказалъ ей свое сочувствіе. И пока я шелъ къ ней и потомъ говорилъ, я горячо любилъ ее, какъ униженную и оскорбленную. Да... Ну, вышло такъ, что черезъ недѣлю послѣ этого я сдѣлалъ ей предложеніе. Начальство и товарищи нашли бракъ мой несовмѣстнымъ съ достоинствомъ офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написалъ длинное письмо, въ которомъ доказалъ, что мой поступокъ долженъ быть записанъ въ исторіи полка золотыми буквами и прочее. Письмо послалъ командиру, а копіи товарищамъ. Ну, конечно, былъ возбужденъ и не обошлось безъ рѣзкостей. Меня попросили оставить полкъ. Гдѣ-то у меня спрятанъ черновикъ, я тебѣ дамъ прочесть какъ-нибудь. Написано съ большимъ чувствомъ. Ты увидишь, какія я переживалъ честныя, свѣтлыя ми-

нуты. Подалъ я въ отставку и пріѣхалъ съ женой сюда. Послѣ отца остались кое-какіе должишки, денегъ у меня не было, а жена съ перваго же дня завела знакомства, стала щеголять и играть въ карты, и я вынужденъ былъ заложить имѣніе. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и изъ всѣхъ моихъ сосѣдей только одинъ ты не былъ ея любовникомъ. Года черезъ два далъ я ей отступного, все, что у меня было тогда, и она уѣхала въ городъ. Да... И теперь я выплачиваю ей по тысячѣ двѣсти ежегодно. Ужасная женщина! Есть, братъ, муха, которая кладетъ личинку на спину паука такимъ образомъ, что тотъ никакъ не можетъ сбросить ея; личинка прирастаетъ къ пауку и пьетъ изъ его сердца кровь. Точно такъ же вотъ приросла ко мнѣ и пьетъ изъ моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидитъ и презираетъ меня за то, что я сдѣлалъ глупость, то-есть женился на такой женщинѣ, какъ она. Мое великодушіе кажется ей жалкимъ. „Умный человѣкъ, говоритъ, бросилъ меня, а дуракъ подобралъ“. По ея мнѣнію, только жалкій идіотъ могъ поступить такъ, какъ я. И мнѣ, братъ, это невыносимо горько. Вообще, братъ, скажу въ скобкахъ, гнетъ меня судьба. Въ дугу гнетъ.

Петръ Михайловичъ слушалъ Власича и въ недоумѣніи спрашивалъ себя: чѣмъ этотъ человѣкъ могъ такъ понравиться Зинѣ? Немолодой — ему уже 41 годъ, — тощій, сухопарый, узкогрудый, съ длиннымъ носомъ, съ просѣдью въ бородѣ. Говоритъ онъ точно гудетъ, улыбается болѣзненно и, разговаривая, некрасиво взмахиваетъ руками. Ни здо-

ровья, ни красивыхъ мужественныхъ манеръ, ни свѣтскости, ни веселости, а такъ, съ внѣшней стороны, что-то тусклое и неопредѣленное. Одѣвается онъ безвкусно, обстановка у него унылая, поэзіи и живописи онъ не признаетъ, потому что онѣ „не отвѣчаютъ на запросы дня“, то-есть онъ не понимаетъ ихъ; музыка его не трогаетъ. Хозяинъ онъ плохой. Имѣніе у него приведено въ полное разстройство и заложено; по второй закладной онъ платитъ двѣнадцать процентовъ и, кромѣ того, по векселямъ еще долженъ тысячъ десять. Когда приходитъ время платить проценты или высылать женѣ деньги, онъ проситъ у всѣхъ взаймы съ такимъ выраженіемъ, какъ будто у него дома пожаръ, и въ это время, очертя голову, продаетъ онъ весь свой зимній запасъ хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потомъ велитъ топить свои печи садовою рѣшеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него потравлены свиньями, въ лѣсу по молодняку ходитъ мужицкій скотъ, а старыхъ деревьевъ съ каждой зимой становится все меньше и меньше; въ огородѣ и въ саду валяются пасѣчныя колодки и ржавыя ведра. У него нѣтъ ни талантовъ ни дарованій и нѣтъ даже обыкновенной способности жить какъ люди живутъ. Въ практической жизни это наивный слабый человѣкъ, котораго легко обмануть и обидѣть, и мужики не даромъ называютъ его „простоватымъ“.

Онъ либералъ и считается въ уѣздѣ краснымъ, но и это выходитъ у него скучно. Въ его вольнодумствѣ нѣтъ оригинальности и паѳоса; возмущается, негодуетъ и радуется онъ какъ-то все въ

одну ноту, не эффектно и вяло. Даже въ минуты сильнаго воодушевленія онъ не поднимаетъ головы и остается сутулымъ. Но скучнѣе всего, что даже свои хорошія, честныя идеи онъ умудряется выражать такъ, что онѣ кажутся банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда онъ медленно, съ глубокомысленнымъ видомъ, начинаетъ толковать про честныя, свѣтлыя минуты, про лучшіе годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идетъ впереди общества, или порицаетъ русскихъ людей за то, что они въ тридцать лѣтъ надѣваютъ халатъ и забываютъ завѣты своей almae matris. Когда остаешься у него ночевать, то онъ кладетъ на ночной столикъ Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читалъ, то онъ выйдетъ и принесетъ Добролюбова.

Это называлось въ уѣздѣ вольнодумствомъ, и многіе смотрѣли на это вольнодумство какъ на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сдѣлало его глубоко несчастнымъ. Оно было для него тою личинкой, о которой онъ только что говорилъ: крѣпко приросло къ нему и пило изъ его сердца кровь. Въ прошломъ странный бракъ во вкусѣ Достоевскаго, длинныя письма и копіи, писанныя плохимъ неразборчивымъ почеркомъ, но съ большимъ чувствомъ, безконечныя недоразумѣнія, объясненія, разочарованія, потомъ долги, вторая закладная, жалованье женѣ, ежемѣсячные займы — и все это никому не въ пользу, ни себѣ ни людямъ. И въ настоящемъ, какъ прежде, все онъ торопится, ищетъ подвига и суется въ чужія дѣла; попрежне-

му, при всякомъ удобномъ случаѣ, длинныя письма и копіи, утомительные шаблонные разговоры объ общинѣ или о поднятіи кустарной промышленности или объ учрежденіи сыроваренъ, — разговоры, похожіе одинъ на другой, точно онъ приготовляетъ ихъ не въ живомъ мозгу, а машиннымъ способомъ. И, наконецъ, этотъ скандалъ съ Зиной, который неизвѣстно чѣмъ еще кончится!

А между тѣмъ сестра Зина молода, — ей только 22 года, — хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтунья, спорщица, страстная музыкантша; она знаетъ толкъ въ нарядахъ, въ книгахъ и въ хорошей обстановкѣ, и у себя дома не потерпѣла бы такой комнатки, какъ эта, гдѣ пахнетъ сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но въ ея вольнодумствѣ чувствуются избытокъ силъ, тщеславіе молодой, сильной, смѣлой дѣвушки, страстная жажда быть лучше и оригинальнѣе другихъ... Какъ же могло случиться, что она полюбила Власича?

„Онъ — Донъ-Кихотъ, упрямый фанатикъ, маньякъ, — думалъ Петръ Михайловичъ, — а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, какъ я... Мы съ ней сдаемся скоро и безъ сопротивленія. Она полюбила его; но развѣ я самъ не люблю его, несмотря ни на что“...

Петръ Михайловичъ считалъ Власича хорошимъ, честнымъ, но узкимъ и одностороннимъ человѣкомъ. Въ его волненіяхъ и страданіяхъ да и во всей его жизни онъ не видѣлъ ни ближайшихъ ни отдаленныхъ высшихъ цѣлей, а видѣлъ только скуку и неумѣнье жить. Его самоотверженіе и все

то, что Власичъ называлъ подвигомъ или честнымъ порывомъ, представлялись ему безполезною тратой силъ, ненужными холостыми выстрѣлами, на которые шло очень много пороху. А то, что Власичъ фанатически вѣрилъ въ необыкновенную честность и непогрѣшимость своего мышленія, казалось ему наивнымъ и даже болѣзненнымъ; и то, что Власичъ всю свою жизнь какъ-то ухитрялся перепутывать ничтожное съ высокимъ, что онъ глупо женился и считалъ это подвигомъ, и потомъ сходился съ женщинами и видѣлъ въ этомъ торжество какой-то идеи, — это было просто непонятно.

Но все-таки Петръ Михайловичъ любилъ Власича, чувствовалъ присутствіе въ немъ какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духа противорѣчить ему. Онъ боялся, что его мысли покажутся грубыми и странными и его самого сочтутъ отсталымъ, упрямымъ и тяжелымъ человѣкомъ. Иной разъ приходило страстное желаніе облегчить душу и высказать вслухъ всѣ свои мысли, но онъ боялся, что Власичъ вдругъ обидится, разочаруется и будетъ страдать, а съ нимъ вмѣстѣ разочаруется Зина и всѣ знакомые. Онъ любилъ свои мысли и хотѣлъ быть свободнымъ и смѣлымъ; но кто могъ поручиться ему, что его мысли справедливы? Сомнѣнія были постоянныя... А тутъ еще несчастная фамильная черта всѣхъ Ивашиныхъ: деликатное, мягкое, лѣнивое сердце,— слизнякъ, а не сердце. Кажется, приди кто-нибудь сейчасъ и сядь верхомъ на Петра Михайловича, и онъ не скажетъ ни слова, а пожалуй еще извинится, что у него плечи недостаточно удобны.

Власичъ подсѣлъ совсѣмъ близко, чтобы потолковать подъ шумокъ дождя, въ темнотѣ, и уже откашлялся, готовый разсказать что-нибудь длинное, въ родѣ исторіи своей женитьбы; но Петру Михайловичу невыносимо было слушать: его томила мысль, что сейчасъ онъ увидитъ сестру.

— Да, тебѣ не везло въ жизни, — сказалъ онъ мягко, — но, извини, мы съ тобой уклонились отъ главнаго. Мы не о томъ говоримъ.

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ. Такъ вотъ вернемся къ главному, — сказалъ Власичъ и всталъ. — Я говорю тебѣ, Петруша: совѣсть наша чиста. Мы не вѣнчаны, но что бракъ нашъ вполнѣ законенъ, — не мнѣ доказывать и не тебѣ слушать. Ты такъ же свободно мыслишь, какъ я, и, слава Богу, разногласія у насъ на этотъ счетъ не можетъ быть. Что же касается до нашего будущаго, то оно не должно пугать тебя. Я буду работать до кроваваго пота, не спать ночей, — однимъ словомъ, я напрягу всѣ силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ея будетъ прекрасной. Ты спросишь: сумѣю ли я это сдѣлать? Сумѣю, братъ! Когда человѣкъ думаетъ каждую минуту все объ одномъ и томъ же, то ему не трудно добиться, чего онъ хочетъ. Но пойдемъ къ Зинѣ. Надо ее обрадовать.

У Петра Михайловича забилось сердце. Онъ всталъ и пошелъ за Власичемъ въ переднюю, а оттуда въ залу. Въ этой громадной, угрюмой комнатѣ стояли только фортепьянъ и длинный рядъ старинныхъ стульевъ съ бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепьянѣ горѣла одна свѣча. Изъ залы молча прошли въ столовую. Тутъ

тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый столъ изъ двухъ половинокъ на шести толстыхъ ногахъ и только одна свѣча. Часы въ большомъ красномъ футлярѣ, похожемъ на кіотъ, показывали половину третьяго.

Власичъ отворилъ дверь въ сосѣднюю комнату и сказалъ:

— Зиночка, у насъ Петруша!

Тотчасъ же послышались торопливые шаги, и въ столовую вошла Зина, высокая, полная и очень блѣдная, какою Петръ Михайловичъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ дома, — въ черной юбкѣ и въ красной кофточкѣ съ большою пряжкой на поясѣ. Она одною рукой обняла брата и поцѣловала его въ високъ.

— Какая гроза! — сказала она. — Григорій ушелъ куда-то, и я осталась одна на весь домъ.

Она не была смущена и смотрѣла на брата искренно и ясно, какъ дома; глядя на нее, и Петръ Михайловичъ пересталъ испытывать смущеніе.

— Но вѣдь ты не боишься грозы, — сказалъ онъ, садясь за столъ.

— Да, но здѣсь огромныя комнаты, домъ старый и весь звенитъ отъ грома какъ шкапъ съ посудой. Вообще, миленькій домикъ, — продолжала она, садясь противъ брата. — Тутъ что ни комната, то какое-нибудь пріятное воспоминаніе. Въ моей комнатѣ, можешь себѣ представить, застрѣлился дѣдушка Григорія.

— Въ августѣ будутъ деньги, ремонтирую флигель въ саду, — сказалъ Власичъ.

— Почему-то во время грозы вспоминается дѣ-

душка, — продолжала Зина. — А въ этой столовой засѣкли на смерть какого-то человѣка.

— Это дѣйствительный фактъ, — подтвердилъ Власичъ и посмотрѣлъ большими глазами на Петра Михайловича. — Въ сороковыхъ годахъ это имѣніе арендовалъ нѣкій Оливьеръ, французъ. Портретъ его дочери валяется у насъ теперь на чердакѣ. Очень хорошенькая. Этотъ Оливьеръ, какъ разсказывалъ мнѣ отецъ, презиралъ русскихъ за невѣжество и глумился надъ ними жестоко. Такъ, онъ требовалъ, чтобы священникъ, проходя мимо усадьбы, снималъ шапку за полверсты, и когда семейство Оливьеровъ проѣзжало черезъ деревню, то чтобъ звонили въ церкви. Съ крѣпостными и вообще съ малыми міра сего онъ, конечно, церемонился еще меньше. Какъ-то проходилъ здѣсь по дорогѣ одинъ изъ благодушнѣйшихъ сыновъ бродячей Руси, что-то въ родѣ гоголевскаго бурсака Хомы Брута. Попросился онъ ночевать, понравился тутъ приказчикамъ, и его оставили при конторѣ. Существуетъ много варіацій. Одни говорятъ, что бурсакъ волновалъ крестьянъ, другіе же, — будто его полюбила дочь Оливьера. Не знаю, что вѣрно, но только въ одинъ прекрасный вечеръ позвалъ его сюда Оливьеръ и сдѣлалъ ему допросъ, потомъ же приказалъ его бить. Понимаешь ли, самъ сидитъ за этимъ столомъ и бордо пьетъ, а конюхи бьютъ бурсака. Должно-быть, пыталъ. Къ утру бурсакъ умеръ отъ истязаній, и трупъ его спрятали куда-то. Говорятъ, что въ прудъ Колтовича бросили. Подняли дѣло, но французъ заплатилъ кому слѣдуетъ нѣсколько тысячъ и уѣхалъ въ

Эльзасъ. Кстати же подошелъ срокъ аренды тѣмъ дѣло и кончилось.

— Какіе негодяи! — проговорила Зина и вздрогнула.

— Мой отецъ хорошо помнитъ и Оливьера и его дочь. Говорилъ, что красавица была замѣчательная и притомъ эксцентричная. Я думаю, что бурсакъ все вмѣстѣ: и крестьянъ волновалъ и дочь увлекъ. Можетъ-быть, даже это былъ вовсе не бурсакъ, а инкогнито какой-нибудь.

Зина задумалась: исторія бурсака и красивой француженки, повидимому, унесла ея воображеніе далеко. Какъ казалось Петру Михайловичу, она наружно нисколько не измѣнилась въ послѣднюю недѣлю, только стала немножко блѣднѣе. Она глядѣла покойно и обыкновенно, какъ будто вмѣстѣ съ братомъ пріѣхала къ Власичу въ гости. Но Петръ Михайловичъ чувствовалъ, что произошла какая-то перемѣна въ немъ самомъ. Въ самомъ дѣлѣ, прежде, когда она жила дома, онъ могъ говорить съ нею рѣшительно обо всемъ, теперь же онъ былъ не въ силахъ задать даже простого вопроса: „Какъ тебѣ живется здѣсь?“ Этотъ вопросъ казался неловкимъ и ненужнымъ. Должно-быть, такая же перемѣна произошла и въ ней. Она не спѣшила заводить разговоръ о матери, о домѣ, о своемъ романѣ съ Власичемъ; она не оправдывалась, не говорила, что гражданскій бракъ лучше церковнаго, не волновалась и покойно задумалась надъ исторіей Оливьера... И почему вдругъ заговорили объ Оливьерѣ?

— У васъ у обоихъ плечи мокрыя отъ дождя, —

сказала Зина и радостно улыбнулась: она была тронута этимъ маленькимъ сходствомъ между братомъ и Власичемъ.

И Петръ Михайловичъ почувствовалъ всю горечь и весь ужасъ своего положенія. Онъ вспомнилъ свой опустѣвшій домъ, закрытый рояль и Зинину свѣтленькую комнату, въ которую теперь уже никто не входитъ; онъ вспомнилъ, что на аллеяхъ въ саду уже нѣтъ слѣдовъ отъ маленькихъ ногъ и что передъ вечернимъ чаемъ уже никто съ громкимъ смѣхомъ не уходитъ купаться. То, къ чему онъ больше и больше привязывался съ самаго ранняго дѣтства, о чемъ любилъ думать, когда сидѣлъ, бывало, въ душномъ классѣ или въ аудиторіи, — ясность, чистота, радость, все, что наполняло домъ жизнью и свѣтомъ, ушло безвозвратно, исчезло и смѣшалось съ грубою неуклюжею исторіей какого-то батальоннаго командира, великодушнаго прапорщика, развратной бабы, застрѣлившагося дѣдушки... И начинать разговоръ о матери или думать, что прошлое можетъ вернуться, значило бы не понимать того, что ясно.

Глаза у Петра Михайловича наполнились слезами, и рука, лежавшая на столѣ, задрожала. Зина угадала, о чемъ онъ думалъ, и глаза ея тоже покраснѣли и заблестѣли.

— Григорій, поди сюда! — сказала она Власичу.

Оба отошли къ окну и стали говорить о чемъ-то шопотомъ. И по тому, какъ Власичъ нагнулся къ ней и какъ она смотрѣла на него, Петръ Михайловичъ еще разъ понялъ, что все уже непоправимо кончено и что говорить ни о чемъ не нужно. Зина вышла.

— Такъ-то, братъ, — заговорилъ Власичъ послѣ нѣкотораго молчанія, потирая руки и улыбаясь. — Я давеча назвалъ нашу жизнь счастьемъ, но это подчиняясь, такъ сказать, литературнымъ требованіямъ. Въ сущности же ощущенія счастья еще не было. Зина все время думала о тебѣ, о матери, и мучилась; глядя на нее, и я мучился. Она натура свободная, смѣлая, но безъ привычки, знаешь, тяжело, да и молода къ тому же. Прислуга называетъ ее барышней; кажется, пустякъ, но это ее волнуетъ. Такъ-то, братъ.

Зина принесла полную тарелку земляники. За ней вошла маленькая горничная, на видъ безотвѣтная и забитая. Она поставила на столъ кувшинъ молока и поклонилась низко-низко... Въ ней было что-то общее со старинною мебелью, такое же оцѣпенѣлое и скучное.

Дождя уже не было слышно. Петръ Михайловичъ ѣлъ землянику, а Власичъ и Зина смотрѣли на него молча. Приближалось время ненужнаго, но неизбѣжнаго разговора, и всѣ трое уже чувствовали его тяжесть. У Петра Михайловича глаза опять наполнились слезами; онъ отодвинулъ отъ себя тарелку и сказалъ, что ему пора уже ѣхать домой, а то будетъ поздно и, пожалуй, опять пойдетъ дождь. Настала минута, когда Зина изъ приличія должна была заговорить о домашнихъ и о своей новой жизни.

— Что у насъ? — спросила она быстро, и ея блѣдное лицо задрожало. — Что мама?

— Ты маму знаешь... — отвѣтилъ Петръ Михайловичъ, не глядя на нее.

— Петруша, ты долго думалъ о томъ, что произошло, — проговорила она, взявши брата за рукавъ, и онъ понялъ, какъ ей тяжело говорить. — Ты долго думалъ; скажи мнѣ: можно ли разсчитывать, что мама когда-нибудь примирится съ Григоріемъ... и вообще съ этимъ положеніемъ?

Она стояла близко къ брату, лицомъ къ лицу, и онъ изумился, что она такъ красива, и что раньше онъ точно не замѣчалъ этого; и то, что его сестра, похожая лицомъ на мать, изнѣженная, изящная, жила у Власича и съ Власичемъ, около оцѣпенѣлой горничной и стола на шести ногахъ, въ домѣ, гдѣ засѣкли живого человѣка, что она сейчасъ не поѣдетъ съ нимъ домой, а останется тутъ ночевать,— это показалось ему невѣроятнымъ абсурдомъ.

— Ты маму знаешь... — сказалъ онъ, не отвѣчая на вопросъ. — По-моему, слѣдовало бы соблюсти декорумъ, попросить у нея прощенія...

— Но просить прощенія — значитъ дѣлать видъ, что мы поступили дурно. Для успокоенія мамы я готова солгать, но вѣдь это ни къ чему не поведетъ. Я знаю маму. Ну, что будетъ, то будетъ! — сказала Зина, повеселѣвшая оттого, что самое непріятное было уже сказано. — Подождемъ пять, десять лѣтъ, потерпимъ, а тамъ что Богъ дастъ.

Она взяла брата подъ руку и, когда проходила черезъ темную переднюю, прижалась къ его плечу.

Вышли на крыльцо. Петръ Михайловичъ простился, сѣлъ на лошадь и поѣхалъ шагомъ; Зина и Власичъ пошли проводить его немного. Было тихо, тепло и чудесно пахло сѣномъ; на небѣ межъ облаковъ ярко горѣли звѣзды. Старый садъ Вла-

сича, видѣвшій на своемъ вѣку столько печальныхъ исторій, спалъ, окутавшись въ потемки, и почему-то было грустно проѣзжать черезъ него.

— А мы съ Зиной сегодня послѣ обѣда провели нѣсколько воистину свѣтлыхъ минутъ! — сказалъ Власичъ. — Я прочелъ ей вслухъ превосходную статью по переселенческому вопросу. Прочти, братъ! Тебѣ это необходимо! Статья замѣчательная по честности. Я не выдержалъ и написалъ въ редакцію письмо для передачи автору. Написалъ только одну строчку: „Благодарю и крѣпко жму честную руку!“

Петръ Михайловичъ хотѣлъ сказать: „Не впутывайся ты, пожалуйста, не въ свои дѣла!“ — но промолчалъ.

Власичъ шелъ у праваго стремени, а Зина у лѣваго; оба какъ будто забыли, что нужно возвращаться домой, а было сыро и уже немного оставалось до рощи Колтовича. Петръ Михайловичъ чувствовалъ, что они ждутъ отъ него чего-то, хотя сами не знаютъ чего, и ему стало невыразимо жаль ихъ. Теперь, когда они съ покорнымъ видомъ и задумавшись шли около лошади, онъ былъ глубоко убѣжденъ, что они несчастны и не могутъ быть счастливы, и ихъ любовь казалась ему печальною, непоправимою ошибкой. Отъ жалости и сознанія, что онъ ничѣмъ не можетъ помочь, имъ овладѣло то состояніе душевнаго разслабленія, когда онъ, чтобы избавиться отъ тяжелаго чувства состраданія, готовъ бывалъ на всякія жертвы.

— Я къ вамъ буду ѣздить ночевать,—сказалъ онъ.

Но это походило на то, какъ будто онъ дѣлалъ уступку, и не удовлетворило его. Когда останови-

лись около рощи Колтовича, чтобы проститься, онъ нагнулся къ Зинѣ, дотронулся до ея плеча и сказалъ:

— Ты, Зина, права. Ты хорошо поступила!

И, чтобы не сказать больше и не расплакаться, онъ ударилъ по лошади и поскакалъ въ рощу. Въѣзжая въ потемки, онъ оглянулся и увидѣлъ, какъ Власичъ и Зина шли домой по дорогѣ, — онъ широко шагая, а она рядомъ съ нимъ торопливою подпрыгивающею походкой, — и о чемъ-то оживленно разговаривали.

„Я — старая баба, — подумалъ Петръ Михайловичъ. — Ѣхалъ затѣмъ, чтобы рѣшить вопросъ, но еще больше запуталъ его. Ну, да Богъ съ нимъ!“

На душѣ у него было тяжело. Когда кончилась роща, онъ поѣхалъ шагомъ и потомъ около пруда остановилъ лошадь. Хотѣлось сидѣть неподвижно и думать. Восходилъ мѣсяцъ и краснымъ столбомъ отражался на другой сторонѣ пруда. Гдѣ-то глухо погромыхивалъ громъ. Петръ Михайловичъ не мигая смотрѣлъ на воду и воображалъ отчаяніе сестры, ея страдальческую блѣдность и сухіе глаза, съ какими она будетъ скрывать отъ людей свое униженіе. Онъ вообразилъ себѣ ея беременность, смерть матери, ея похороны, ужасъ Зины... Гордая суевѣрная старуха кончитъ не иначе, какъ смертью. Страшныя картины будущаго рисовались передъ нимъ на темной гладкой водѣ, и среди блѣдныхъ женскихъ фигуръ онъ видѣлъ самого себя, малодушнаго, слабаго, съ виноватымъ лицомъ...

Въ ста шагахъ на правомъ берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человѣкъ это или вы-

сокій пень? Петръ Михайловичъ вспомнилъ про бурсака, котораго убили и бросили въ этотъ прудъ.

„Оливьеръ поступилъ безчеловѣчно, но вѣдь такъ или иначе онъ рѣшилъ вопросъ, а я вотъ ничего не рѣшилъ, а только напуталъ, — подумалъ онъ, вглядываясь въ темную фигуру, похожую на привидѣніе. — Онъ говорилъ и дѣлалъ то, что думалъ, а я говорю и дѣлаю не то, что думаю; да и не знаю навѣрное, что собственно я думаю...“

Онъ подъѣхалъ къ темной фигурѣ: это былъ старый гніющій столбъ, уцѣлѣвшій отъ какой-то постройки.

Изъ рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами. Петръ Михайловичъ ѣхалъ по берегу пруда и печально глядѣлъ на воду и, вспоминая свою жизнь, убѣждался, что до сихъ поръ говорилъ онъ и дѣлалъ не то, что думалъ, и люди платили ему тѣмъ же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, какъ эта вода, въ которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить.

КОНЕЦЪ

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр
Бабье царство	3
Попрыгунья	61
Черный монахъ	99
Въ ссылкѣ	147
Скрипка Ротшильда	161
Володя большой и Володя маленькій	175
Учитель словесности	193
Въ усадьбѣ	229
Отецъ	241
Студентъ	253
Сосѣди	259

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 02753 9801

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD